# Двадцать четыре часа

# Сергей Снегов

1

Прения по докладу Семенова были бурными — выступали представители заводов, горных предприятий, работники горкома. Семенов знал, что против него сложилась среди хозяйственников сильная группка, возглавляемая новым директором горно-металлургического комбината — Алексеем Антоновичем Марковым. Знал он также, что на партконференции его будут ругать за грубость, зажим критики, игнорирование коллективности в руководстве — именно об этом у него был разговор с Марковым, когда тот прямо пригрозил: «Пойду на тебя, Василий Петрович, мира на конференции не жди». И именно потому, что он все это знал заранее, его не удивил резкий тон выступлений — он сам начал борьбу, обрушившись в докладе на хозяйственников за плохое положение на руднике и ослабление борьбы за план. В середине первого дня на трибуну поднялся Марков. В своей получасовой речи он о комбинате говорил мало, а почти все время посвятил Семенову. Он закончил свою речь гневными словами:

— Окрики, подстегивания, угрозы — вот единственная «помощь», которую мы видим от горкома. Вместо того чтобы глубоко вникать в существо нашего дела, первый секретарь горкома товарищ Семенов предпочитает залихватски разносить работников. Считаю, что с таким положением надо решительно кончать — горкому нового состава придется круто перестраивать свою работу!

Все это было неприятно, конечно. Семенов не мог не заметить, что ему после доклада хлопали меньше, чем Маркову. Угрюмый и раздраженный, он записал у себя в блокноте: «Марков. Уклоняется от серьезного анализа прорыва на руднике. Все по-обывательски сводит на личности. Не терпит критики». Эту запись, незначительно меняя ее, пришлось повторять почти после каждого выступления — хозяйственники один за другим нападали на Семенова. Особенно неприятным было выступление Лазарева, директора угольной шахты, обвинившего Семенова в зазнайстве и бюрократизме, — Лазарев деликатные выражения никогда не подбирал. Семенов даже поморщился, когда Лазарев энергично крикнул это злое словцо — бюрократ. Больше, впрочем, Семенов не разрешил себе открыто выказывать свои чувства: он сидел в президиуме спокойный и улыбающийся. Со стороны могло показаться, что ему нравится резкость выступлений и что он не сердится на выступающих — он даже похлопал Лазареву, когда тот заговорил о внедрении механизации на шахте. Чигина, откровенно пустившегося восхвалять руководство горкома, Семенов остановил иронической репликой — он не любил подхалимажа. Чибисов — член бюро крайкома партии, высокий, худой, с крупной седой головою, Герой Социалистического Труда, знаменитый на всю страну строитель, лет десять назад подробно выведенный в одном известном романе — был так поражен ходом выступлений и спокойствием Семенова, что не удержался и, наклонившись к нему, удивленно и встревоженно прошептал: «А крепко они тебя, Василий Петрович!» И Семенов, понимая, что перед Чибисовым ему особенно нужно казаться спокойным и уверенным, усмехнувшись, ответил почти с гордостью за людей, которые так решительно его критиковали: «А ты как думал? Ребята у нас не вашим чета, палец им в рот не клади — чинами считаться не станут, а в работе голову оторвут!» Чибисов, сдвинув седые брови над умными выцветающими глазами, изумленно посмотрел на Семенова, хотел что-то возразить, но передумал и ничего не сказал.



Получив заключительное слово, Семенов пошел на трибуну. Он чувствовал, что его час настал, — долго говорить он не любил, но крепко говорить умел. Он видел, как склоняли лица и багровели те, кому он давал отпор. Марков в президиуме барабанил пальцами, дергался на стуле, потом пересел к Чибисову и что-то жарко ему зашептал, — Чибисов, чуть наклонившись к нему, внимательно смотрел на трибуну, на Семенова. Всего, о чем говорилось на конференции, Семенов не касался, он выбрал основное, главных своих противников, но тут пощады не дал и высказал все, что полагалось высказать. О Маркове он прямо заявил: успехи вскружили ему голову, зазнался, пустился в прямое прожектерство, ослабил борьбу за план, не замечает, что под носом у него творятся безобразия, подхалимаж развел, упивается, что везде его новатором славят, — что же, не одного такого руководителя партия призвала к порядку, призовет и его. Только о Лазареве Семенов ничего не сказал плохого, и никто этому не удивился — все знали, как Семенов уважает старика. После речи Семенова Шадрин, как и было предусмотрено, внес предложение признать работу горкома удовлетворительной. Кто-то одиноко крикнул из задних рядов: «Неудовлетворительной!», но только два голоса поддержали это предложение. Семенов, заняв свое председательское место, предложил перейти ко второму пункту повестки дня — выбору нового состава бюро горкома и ревизионной комиссии. Ружанский долго и нудно читал своим монотонным голосом список рекомендуемых, потом со всех сторон посыпались дополнительные кандидатуры. Чибисов, подвижной, несмотря на возраст, не усидел на месте и, круто повернувшись к Семенову, возбужденно шепнул — он часто приезжал в Рудный и почти всех хорошо знал:

— А ведь неплохих людей рекомендуют, как по-твоему?

— Плохих не выдвинут, — согласился Семенов и, помолчав, пояснил: — Это еще не большая заслуга, Виталий Трифонович, подобрать хороших людей — парторганизация у нас крепкая, боевая, сложные задачи решает; если выискивать только хороших людей, так за одним-двумя исключениями можно прямо по алфавиту брать — не ошибешься.

Когда началось обсуждение выдвинутых кандидатур, Чибисов выступил одним из первых и от имени крайкома рекомендовал Семенова и Верховенского. Он подробно обосновал свое предложение: Семенов пятнадцать лет в партии, испытан на самых ответственных участках — в хозяйственном строительстве, на фронтах Отечественной войны, сейчас ему доверена важная работа в руководящем партийном органе. Конечно, имеются у него и недостатки — грубость, резкость в обращении, склонность к администрированию — товарищи в своих выступлениях много останавливались на этих недостатках, придется тебе, Василий Петрович, прислушаться к сигналам, перестроить свою работу, без этого не обойтись. Но в целом, конечно, Семенов — хороший работник, вполне справляется с обязанностями первого секретаря. Не надо забывать, что министерство металлургические заводы в Рудном ставит в пример другим, тут немалая заслуга и парторганизации, возглавляемой Василием Петровичем. О Верховенском тоже можно сказать много хорошего — молодой инженер, принципиальный, инициативный, творческий человек, на партийной работе он недавно, ему, конечно, еще учиться и учиться у таких, как Семенов, но в горкоме он как раз на месте — инженерные силы в партийном аппарате необходимы.

Обосновывали свои предложения другие ораторы. Хвалили своих кандидатов, кое-кого отвели, в частности — Чигина.

После обсуждения кандидатур Семенов объявил часовой перерыв — нужно было подготовить бюллетени для голосования. Люди прогуливались по коридору, курили, пили пиво в буфете. Марков успел съездить на медный завод и вернулся мрачный — из-за посадки напряжения на ТЭЦ трехчасовая плавка меди ушла в преждевременный разлив; несчастий с людьми не произошло, но дневной план начисто сорвали.

Чибисов взял Семенова под руку и увлек его в самый край коридора.

— Слушай, Василий Петрович, — сказал он озабоченно. — Не нравится мне стиль выступлений. Что у тебя нелады с Марковым, в крайкоме хорошо знают — хотели даже специально рассмотреть, кто из вас прав, кто виноват. Но что дело так далеко зашло, этого не представлял. Вот Лазарев — он же прямо сказал: плохо работать стал, Василий Петрович. Боюсь, как бы половина конференции не проголосовала против тебя.

— Ну, половина — это ты хватил, Виталий Трифонович, — угрюмо возразил Семенов, — человек двадцать, может двадцать пять, конечно, проголосуют против — вся группка Маркова, все его приятели. А народ это голосистый, начальники да инженеры, вот и создается впечатление — людей мало, крику много. Нет, не боюсь я этих трезвонщиков. А Лазарев всегда такой, ты его хорошо знаешь, он никому спуску не дает, — говорят, в прошлом месяце на коллегии в Москве министру от него досталось. Ты учти другое — прямого отвода дать никто не осмелился. — И, высказывая свою заветную мысль, Семенов с уверенностью проговорил: — Против рекомендации крайкома не пойдут, в этом я уверен.

Многое в соображениях Семенова казалось справедливым. Чибисов хмуро заметил:

— После выборов вернемся к этому вопросу — мне кажется, недооцениваешь ты настроение товарищей, а верное зерно имеется у многих, кто выступал. Придется кончать с этой ссорой. Чтоб помочь вам, я вынесу все это на крайком: там заслушаем тебя с Марковым и примем решение.

— Давай, — согласился Семенов. Предложение Чибисова было ему неприятно, но спорить он не хотел.

Делегатам конференции были розданы отпечатанные списки кандидатов, и началось голосование. Когда счетная комиссия удалилась подсчитывать голоса, Семенов подсел к Чибисову, разговаривавшему с Верховенским и Ружанским.

— Обсуждаем положение на руднике, — сказал Чибисов, поворачиваясь к Семенову.

Семенов нахмурился и, наливаясь гневом, сердито посмотрел на Верховенского. Пять лет рудник шел в передовых предприятиях города, из месяца в месяц завоевывал переходящее знамя министерства. А недавно стал отставать и теперь держал в петле все заводы комбината. Директором рудника был Ружанский, опытный инженер, но слишком робкий, размеренной жизни человек — в трудную минуту у него не хватало энергии на быстрые, крутые меры. В горкоме рудником занимался Верховенский — он пропадал на руднике целыми сутками, подталкивал нерешительного Ружанского, прямо вмешивался в его распоряжения, проводил совещание за совещанием и каждый вечер, докладывая Семенову, обещал то сдвиг, то поворот, то перелом, но ничего не мог добиться. Семенов считал ответственным за срыв плана на руднике Верховенского.

— Положение тяжелое, — подтвердил Семенов Чибисову и гневно сказал Верховенскому: — Не знаю, как тебе, Александр Степанович, а мне стыдно. Столько разговоров, толкотни всякой, а дела не видно. Сергей Иванович, — он кивнул на Ружанского, — совсем зашился, а ты помочь не можешь. Неужели не умеете поднимать людей на борьбу за план? Смотри, теперь я в горкоме не слезу с тебя, ни минуты не дам сидеть в кабинете. Твое дело зажигать людей, а в бюрократы записываться тебе рано.

— Да ведь делаем все что можем, — оправдывался смущенный Верховенский. — Я уже докладывал на бюро горкома: рудари работают со страшным напряжением, сейчас нас держит механический завод — нужно перестроить и рационализировать работу наших механиков. — Он помолчал и осторожно добавил — он знал, что рассердит Семенова, но перед Чибисовым ему не хотелось скрывать своих мыслей: — Никакое соревнование у рударей, никакие хорошие слова не помогут, если двадцать три экскаватора простаивают половину рабочего времени из-за отсутствия деталей.

— Прячешься за ширму объективных причин, Александр Степанович, — безжалостно определил Семенов. — Слыхал такое уже не раз. Бил, быо и бить буду за такие кислосладкие оправдания. Не тебе это говорить и не мне слушать. — И, внутренне довольный неумным замечанием Верховенского — оно давало ему возможность ясно показать стиль своей работы, неизменно приносивший, как он считал, успех за успехом, Семенов громко и презрительно сказал Чибисову: — Вот всегда так наши молодые техники — спроси их, почему предприятие в прорыве, они тебе и детали экскаватора, и трансформаторы, и кабели — все перечислят, а о человеке не вспомнят. А между прочим человек — суть дела. Пять лет работали экскаваторы, и ничего, тянули, а сейчас вдруг простаивают. Работу с людьми ослабили, дорогие товарищи, соревнование в загоне, организация труда хромает, энтузиазм пропал — здесь корень зла. Вот кончатся выборы, я сам покажу тебе, как надо поднимать массы на борьбу и добиваться перелома.

— Механическим заводом заняться тоже не мешает, — посоветовал Чибисов. — Нарекания на него со всех сторон.

— С этим не спорю, — согласился Семенов. — На первое же заседание бюро вызовем механиков, это у меня уже намечено. — Он с угрюмой насмешливостью посмотрел на Ружанского. — Ну, а товарищей из технических отделов все-таки потревожим: пусть они на недельку оторвутся от своих высокоценных изысканий и включатся в конкретную работенку по плану.

Ружанский почувствовал, что пришел и его черед оправдываться. Он осторожно заметил:

— На это дело Марков санкции не даст. Сейчас самое важное — пустить полностью на открытых разработках все экскаваторы и подтолкнуть министерство машиностроения, чтоб оно скорей изготовило для нас три горнопроходческих комбайна.

Семенов сердито покосился на Ружанского, но ничего не сказал — время было идти в зал.

А затем грянула неожиданность. Шадрин называл количество голосов, поданных за каждого кандидата. Семенов, не вслушиваясь особенно в его скрипучий, неприятный голос, механически отмечал в уме эти цифры: Верховенский — 127, Марков — 131, Ружанский — 81, Лазарев — 142. Когда Шадрин, запнувшись, проговорил: Семенов — 41, делегаты замерли: шепоты, шорохи, покашливания, шарканье ног, скрип стульев — все сразу оборвалось. Голос у Шадрина был тихий, он еще приглушил его запинаясь, но эта цифра — сорок один — отчетливо проплыла в зале, словно ее проговорили намеренно громко и торжественно. Кровь жарко бросилась в лицо Семенову, в ушах тяжело зашумело. Шадрин торопливо, глотая слова и путаясь, читал список избранных в горком — в нем были почти все, намеченные Семеновым и утвержденные на бюро, но самого Семенова не было. И когда Шадрин кончил чтение списка, на зал снова навалилась густая тишина — даже жидкие аплодисменты, раздавшиеся приветствием новому составу горкома, не могли разорвать эту тяжелую, гнетущую тишину. И в ней одинокий, срывающийся голос Семенова был жалок и слаб, как голос путника, бредущего в пустыне.

— Что же, товарищи, объявляю на этом партийную конференцию закрытой, — сказал Семенов.

— Что ты, что ты, Василий Петрович! — громко, испуганно зашептал сидевший рядом в президиуме Ружанский. — Шадрину еще читать состав ревизионной комиссии.

— Да, простите!.. — поспешно поправился Семенов. И, еще более путаясь и теряясь, чувствуя, что уже все замечают и багровое пылание его щек, и дрожь в его голосе, и его трясущиеся руки, он проговорил: — Слово имеет товарищ Шадрин! — Объявив это, он с острой болью ощутил, что совсем потерялся: говорить так не следовало, слово Шадрину было предоставлено раньше, он прочел один список и, ожидая конца аплодисментов, раскрывал второй, когда Семенов неожиданно закрыл конференцию, — следовательно, нужно было только сказать: «Продолжайте, товарищ Шадрин!»

Как только Шадриным была названа последняя фамилия, в зале сразу все зашумело и задвигалось — люди, не ожидая вторичного официального закрытия конференции, поспешно вставали и молчаливо уходили, — так уходят от места, где произошло важное, необходимое, потребовавшее больших усилий, но неприятное и тяжелое событие.

Чибисов, встряхивая руку Семенова, сказал серьезно и быстро:

— Понимаю твое состояние, Василий Петрович, мне самому — как снег на голову. Сейчас ничего не будем, а завтра встретимся — поговорим.

Он поспешно отошел, словно боялся неуместных сейчас длинных разговоров. И так как сам он был человек живой и впечатлительный и легко переходил от гнева к смеху и от ласки к ярости, то уже через несколько минут его серьезное настроение сменилось насмешливым удивлением. Семенов, молчаливо шагавший за ним следом, слышал, как Чибисов сказал Ружанскому — в голосе его смешивались неодобрение и уважение:

— Ну и ребята, не часто встретишь таких людей, как ваши! Крайком рекомендует, а им словно с гуся вода. Критиковали открыто, беспощадно и, не оглянувшись, провалили...

2

Шофер Петрович уже ждал у подъезда и привычно ловко распахнул дверцу «зима». Он сказал весело, таким тоном, словно говорил о чем-то несомненном, даже неизбежном:

— Как, Василий Петрович, можно поздравить? Домой сейчас?

Запахнув дверцу, он включил свет и дал газ. Семенов мог не отвечать, но он вдруг с ужасающей ясностью ощутил, что сказать позорную правду о своем провале, вот так просто сказать, наряду с другими словами о том, куда ехать, в котором часу завтра подать машину, он не может. Снова теряясь, глотая слова, мучительно краснея от своей лжи, он пробормотал:

— Все в порядке, Петрович. Езжай домой.

До дома было пятьсот метров, минута езды, и за эту минуту не удалось сосредоточиться ни на одной мысли. Мысли, путаясь и стираясь, летели, как дома, люди и деревья за окном машины. Поспешно выходя, Семенов на ходу бросил, чтобы предотвратить новый мучительный вопрос — куда с утра ехать, в горком или на предприятия:

— Утром не приезжай, понадобишься — сам вызову.

Теперь больше всего он боялся встречи с женой, Лизой. Ему не везло — Лиза, сонная, вышла в прихожую, когда он сбрасывал пальто. Она сказала зевая:

— Я отпустила Настасью Пахомовну на всю ночь, у них там вечеринка в семье, пусть погуляет. Дети спят, еда на столе; захочешь горячего чаю, включи плитку. Как окончилась конференция? Марков больше не выступал? Я так устала, Вася, — Саша три часа не хотел засыпать, все играл в кроватке!

В ее голосе было то же равнодушие уверенности, что и в голосе Петровича, — она, как и тот, как и сам Семенов еще час назад, не сомневалась ни секунды в его избрании. Снимая со стола салфетку, прикрывавшую еду, она повернулась к Семенову спиной. Если он сейчас сообщит жене правду, она резко повернется, ужас и негодование на них, на тех, кто его провалил, исказят ее лицо, и сон и усталость ее сорвет, словно вихрем; она станет плакать, будет говорить, говорить, требовать ответа на вопросы, неясные ему самому. Он сказал:

— Все, как было намечено. Марков больше слова не брал. Прости, Лизанька, мне сейчас работать, есть не буду — перекусил на конференции.

Он быстро прошел в кабинет, спасаясь от ее возможных вопросов, и повернул ключ в двери. Затем медленно, на цыпочках, словно боясь разбудить кого-то, прошел к столу и сел в кожаное кресло. Со стороны могло показаться, что он спит: руки его недвижно лежали на подлокотниках, веки прикрыты, лицо замкнуто. Приглушенная абажуром лампочка одиноко боролась с важным, густым мраком, наполнявшим обширную комнату, населенную книжными полками и этажерками; на пустынном столе расплывалось блином желтое пятно, в пятне проступали буквы доклада, отправленного в крайком. И мало-помалу в мыслях Семенова устанавливался тот же строгий порядок, что был в комнате, — яркая, как желтое пятно на столе, определялась одна какая-то мысль, он обдумывал ее, взвешивал, а за ней, вокруг нее теснились другие, еще приглушенные, еще не ясные, но уже предчувствуемые мысли, и ждали своей очереди, чтобы тоже вспыхнуть ярким пятном и осветить своим светом окружающий мрак, породивший неожиданность. Семенов думал медленно и тяжко, долгие минуты проходили, пока он составлял одну мысль и приходил к другой, и он уставал от этого, как от физического усилия. Он поставил перед собою три вопроса: как могло дойти до этого? Кто был против него? Что сейчас требуется делать?

Он начал с первого вопроса — с того, самого главного и самого существенного, как все это могло получиться. И тут все упиралось в Маркова — его отношения с Марковым и были этим самым главным и самым существенным: он с самого начала стал враждовать с ним, упорствовал в этой вражде и сейчас пожинает ее результаты.

Он вспомнил холодный осенний день, — в этот день в Рудный прилетел новый директор комбината, Алексей Антонович Марков. Они, встречающие, человек восемь, ждали его на аэродроме. Шадрин, угодливый, как всегда, подошел к Семенову и, опуская поднятый воротник, озабоченно проговорил:

— Как думаешь, Василий Петрович, трудновато теперь придется? Марков — мужик с характером, Печерского терпеть не может, а мы все жили с Печерским душа в душу. Смотри, как его расписывают из министерства — особые полномочия...

— Ну, и что же? — сказал Семенов усмехаясь. — Новой метле всегда полномочия даются побольше, чтоб мела почище. Тебе, конечно, полагается тревожиться — начальник твой. А я его всегда к порядку призову, если он начнет очень уж министром себя держать.

Это была, конечно, ошибка, тут он должен признаться — сплоховал. Маркова назначили не случайно. На комбинате, конечно, строительство шло, новые цехи один за другим сдавались в эксплуатацию, но старые — основные — заводы застряли на том же уровне, какой был в последний год войны. Печерский, бывший директор, оправдывался: и уровень военных лет сам по себе очень высок, и оборудование поизносилось, и людей стало меньше. Тут, на месте, оправдания его казались вескими, Семенов, недавно присланный в Рудный, видел сам — люди работают с большим напряжением, ну, еще один-два процента можно было выжать, не больше. А потом прибыла правительственная комиссия, и Печерского с позором сняли. Он, Семенов, одним из первых читал доклад комиссии: комбинат недопустимо отстал в техническом отношении, за послевоенные годы не внедрено ни одного нового прогрессивного метода, технические показатели по всем процессам ниже, чем на других заводах страны, ниже, чем за рубежом. За докладом пришло сообщение — вместо Печерского назначен Марков, а приезду Маркова предшествовала слава — человек решительный, знающий, настойчивый. Лазарев, только что прилетевший из Москвы — был в командировке, — с восторгом сообщал: Марков учил американских капиталистов работать по русскому графику. Это происшествие казалось совершенно невероятным, — если бы о нем рассказывал не Лазарев, а другой, Семенов рассмеялся бы прямо в лицо, но потом многие, приезжавшие из Москвы, подтверждали: да, сам Марков со смехом сознался, что было такое дело. Произошло это в сорок шестом году. Марков принимал в Америке заказанное еще во время войны оборудование. Фирма, учуявшая ветерок приближавшейся холодной войны, что-то крутила, ссылалась на отсутствие рабочих, загруженность оборудования и сорвала сроки поставок. Марков походил по заводу, набросал график выпуска с планом расстановки оборудования и людей и предъявил дирекции. Фирме деваться было некуда, американцы подмахнули график и вывесили его на заводе как приказ дирекции; он так и назывался на заводе — график мистера Маркова. Дело в сущности мелкое, но характерное, Марков в нем показал и свои инженерные знания, и властный характер, и отнюдь не дипломатическое обращение — сам признавался потом, что настаивал, грозил фирме передачей спора в суд... Он, Семенов, этой стороны дела, пожалуй, тоже недооценил.

И трения начались тут же, на аэродроме. Марков взял его под руку и сказал:

— Ну, Василий Петрович, придется ломать старые порядки. Вы тут основательно закостенели в своем нежелании нового. Думаю, нужно прямо-таки техническую революцию начинать и беспощадно гнать тех, кто этого не понимает. Крепко надеюсь на твою помощь.

Ему не понравились эти хвастливые слова. Он высвободил свою руку и сухо ответил:

— Помочь тебе в ценных начинаниях — моя партийная обязанность. А насчет гнать — не слишком ли увлекаешься? Народ тут неплохой.

Марков зорко, недружелюбно посмотрел на него, но промолчал. А через некоторое время на бюро горкома он повел такую речь:

— Накладные расходы у нас колоссальны. Всего пять заводов в Советском Союзе выпускают ту же продукцию, что и мы, — наш самый большой и самый отстающий. Знаете ли вы, дорогие товарищи, что на тонну продукции, выпускаемой в Рудном, людей по штатному расписанию ровно на тридцать процентов больше, чем на передовом из этих пяти заводов — я захватил с собой штаты, можете сравнить. И нечего оправдываться, что у нас особые условия — отдаленность, сложность переработки руд и прочее. Суть в другом: люди работают с прохладцем, рабочий день не уплотнен. Вот я был в Америке — там у работника каждая минута заполнена. Думаю, то-варшци, придется начать со штатов и беспощадно ликвидировать все штатные излишества. Крику, конечно, будет много, но государство выиграет, а это — главное.

Он ставил вопрос так: комбинат отстал, причина отставания в том, что люди самоуспокоились, почили на лаврах военного времени, больше всего спокойствие в жизни любят, вкус к исследованиям потеряли. А сейчас кто не движется вперед, тот движется назад. Он, Марков, разъезжал по предприятиям, знакомился с людьми, — вещи открываются чудовищные. Людей назначают на должности черт знает по какому признаку: на инженерном месте начальника подстанции, питающей весь завод, сидит монтер, электрофильтрами распоряжается бывший снабженец, главный инженер энерголаборатории — двадцатидвухлетний техник, а заведующий отделом подготовки кадров, Фадеев, имеет всего семь классов образования.

— Этот человек самого себя подготовить не сумел. Как же ему доверили такое огромное дело, как подготовка квалифицированных кадров для комбината? — с гневом спрашивал Марков, ударяя кулаком по отполированному столу.

Семенову пришлось выступить с разъяснениями. Он сразу внес существенную поправку — низкопоклонством перед иностранщиной заниматься не следует, тут товариш Марков дает неверную ориентацию. Сокращение проводить, искусственно безработицу создавать — дело тоже нездоровое, директивы сверху по этому поводу нет, значит, кампанию такую начинать не следует. Кое-кого переместить с места на место можно, но надо смотреть в оба глаза, чтобы хорошего, нашего человека случайно не ущемить. Так все это и было записано в решении бюро горкома по его, Семенова, предложению.

А несколько дней спустя в горком посыпались заявления — Марков, пользуясь своим единоначалием, размахнулся во все плечо. Немало, конечно, в его распоряжениях было правильного, хватка у него имеется, но из-за перемещений пострадали и многие хорошие товарищи. Перед кабинетом Семенова выстроилась целая очередь обиженных. Оставить это без последствий он не мог, он так прямо и сказал им всем:

— Идите, не волнуйтесь — руки коротки у Маркова, чтоб вас выгнать. Есть еще инстанция и над ним.

Он сам поехал к Маркову в управление комбината. Этот разговор он хорошо помнит — вспыльчивый Марков кричал, бегал по кабинету, целую пачку «Беломора» извел. Ни до чего они не договорились, и он, Семенов, в тот же день отправил два доклада — в крайком и министерство. Так началась война между ним и Марковым. И на первом этапе этой войны Марков был крепко бит — он получил указание восстановить на работе большинство обиженных. Дураком он не был и против рожна не попер, но злобу затаил. Потом пошли долгие напряженные месяцы борьбы за план и за улучшение качественных показателей. Эта борьба сблизила их. Никто не скажет, что они скверно работали: Марков хозяйственник, конечно, неплохой, а Семенов здорово помогал ему. Это были лучшие дни в их отношениях — вся парторганизация была мобилизована, все люди жили только одним — дать повышенный план, улучшить качество. И мало того, что они вытягивали план — план каждый месяц увеличивался, а они его перевыполняли. Марков был неутомим — в его кабинете на стене висела таблица технологических показателей других заводов, он каждый день рассматривал ее, чуть ли не каждого посетителя подводил к ней. И тут произошло радостное событие, это было в первых числах ноября 1953 года: из министерства пришел приказ с благодарностью — по основным техническим показателям заводы комбината обогнали, наконец, четыре других родственных предприятия. Тогда впервые Марков дружески хлопнул Семенова по плечу.

— Неплохо мы с тобою поработали, Василий Петрович, — сказал он довольный. И, не удержавшись, по обыкновению прихвастнул: — Первое место в стране — начало хорошее, но лишь начало.

Очень скоро он показал, что все это были только слова. Добившись хороших показателей, он забыл, что победу нужно закрепить. Он совсем забросил производство. На шахте, на руднике, в цехах его неделями никто не видел. Он просиживал дни в лабораториях, не вылезал из опытного цеха, наезжал к проектантам, прямо из машины шел не в кабинет, а в технический отдел. Все это, конечно, сказалось — срочные бумаги залеживались, доклады в Москву шли неаккуратно, люди размагничивались. В результате обогатительная фабрика сорвала месячный план, срыв был незначительный, всего полтора процента не дотянула, но суть была не в этом, а в самом факте. Пришлось ему, Семенову, кое-кому хорошенько всыпать — это не понравилось. На бюро горкома заслушали доклад Маркова, содоклад Шадрина — Маркову поставили на вид, Шадрину влепили «строгача». Смешно и неприятно было слушать, как Марков, оправдываясь, наводил тень на плетень, лепетал что-то о технической политике, о завтрашнем дне, пытался уязвить Семенова словами: да поймите, надо крупные задачи решать, а вы в мелочах путаетесь.

— Основной закон у нас — план. Если не умеете закрепить успеха, вас надо призвать к порядку, — так сказал он, Семенов. И пригрозил: — Не повернешься лицом к плану, Алексей Антонович, примем более серьезные меры.

Марков уехал взбешенный. Но накачка подействовала — на следующий день он появился на обогатительной фабрике, провел собрание. Ему помогло и то, что в опытном цехе разработали новый метод — вместо классификаторов применили гидроциклоны. Марков весь механический завод перевел на производство гидроциклонов, успешно провел их монтаж на фабрике, это и спасло — классификаторы план начисто проваливали, а гидроциклоны оказались более производительными. Но уже после этого заседания горкома Марков по возможности старался не встречаться с Семеновым.

А затем произошел окончательный разрыв. Пришла правительственная директива сократить аппарат на двадцать пять — тридцать процентов. И тут сразу обнаружилось, что Марков ничего не забыл и ничему не научился. Сокращение аппарата было большой общественной кампанией, так ее понимал он, Семенов, — сокращаемых переводили на производство, направляли на курсы для переквалификации: безработицы не создавали. А Марков превратил эту работу в сведение личных счетов с неугодными ему людьми, и в горком снова посыпались заявления. Пришлось созвать специальное заседание бюро для рассмотрения этого вопроса. Он, Семенов, сказал там: «Хозяйственники путают, нам придется вмешаться в дело рационализации аппарата и взять его на себя». И он привел возмутительный факт, показывающий, как директива правительства превращается в свою противоположность: на медном заводе сократили несколько человек из аппарата, одновременно сократили и рабочих и значительно расширили лабораторию, службу контроля, автоматики и прочее.

— Это не сокращение аппарата, а раздувание его, — так сказал он на бюро.

Семенов никогда еще не видел Маркова в таком неистовстве. Чего только он не наговорил про Семенова! Тут были и его грубость, и непонимание им насущных задач технического строительства, и игнорирование интересов государства. Он наотрез отказался выполнять указания горкома — пока еще он директор комбината, он не позволит вмешиваться в свои распоряжения. Он дрожал от злобы, портфель в его руках трясся, губы побелели. Семенов ответил ему усмехаясь:

— Борись, Алексей Антонович, если силенок хватит. А сейчас имеешь решение бюро — придется его выполнить!

Вот тогда Марков и сказал при всех это свое: «Мира на конференции не жди, открыто пойду на тебя». Что ж, слово свое он сдержал, даже перекрыл обещание. Он не остановился перед прямым нарушением устава, стал сколачивать свою группку, агитировать против него, Семенова, вызывать к себе людей и настраивать их. Это была самая скверная, самая антипартийная работа — тайная. Кое-какие слухи о такой подготовке до Семенова доходили — его большая вина, это он должен признать, что не придал ей значения, не оборвал ее в самом начале, когда это еще можно было сделать. Он понадеялся на свой авторитет в городской партийной организации, а Марков нажал на заводские коллективы — на конференцию выбирали только его сторонников. Все было заранее запланировано, договорено, расписано по часам — против Семенова выступали, Семенова критиковали и провалили при голосовании. И при всем этом старались свой сговор сохранить в тайне — ни у кого не хватило партийного мужества встать и открыто дать ему отвод. Даже при голосовании резолюции — признать работу горкома удовлетворительной — только двое выступили против, вся группка Маркова голосовала за, сам Марков в президиуме выше всех тянул свою руку. Вот так обстоит дело с ответом на первый вопрос — как все это случилось? Это случилось потому, что они крупно поссорились с Марковым, что пришлось Маркову вправлять мозги, а он не стерпел этого.

Теперь второй вопрос: кто же был против него? Кто еще, помимо Маркова и его дружков, проголосовал на конференции против? На этот вопрос ответить легко. Против него были все те, кого он обижал — крыл, выносил выговоры, добивался понижения в должности. Но он обижал плохих работников. Значит, против него объединилось все самое беспринципное и безидейное, что было в их организации. А так как их организация в целом здоровая, крепкая, то много таких людей не нашлось: одни они решить исход голосования не могли. Что ж, понятно, их поддержали дружки, обманутые и сагитированные ими люди, — может, и тут был тайный сговор! И чтоб решить этот вопрос до конца, он должен вспомнить их всех, точно выяснить, кто голосовал против него и кто — за.

Он начнет с Лазарева. Лазарев голосовал за него. Это не подлежит никакому сомнению. Лазарев за него горой. Конечно, на конференции он выступал круто, очень круто, но таков уж Лазарев, он никому спуска не даст. Ведь Лазарев кто? Старый большевик, потомственный, отец его в царской ссылке погиб, сам он в партии с семнадцатого года. И потом — светлая, умная голова, знающий инженер, горный директор первого ранга. Нет ни одного другого человека, на которого бы он, Семенов, так опирался в своей работе, как опирается он на Лазарева, которого бы так любил и уважал, как Лазарева. И Лазарев его любит — встречает с улыбкой, берет его под руку, сам спускается с ним в шахту. Нет, нет, тут и думать нечего, Лазарев хоть и ругал его, а полностью за него, а за Лазаревым идут все коммунисты на шахтах — они тоже голосовали за него, Семенова, в этом он уверен. Следующая крупная организация — рудник. Там самая влиятельная фигура Ружанский — тихоня, нуда, но честный человек; он за Семенова, это неоспоримо. Никому другому он, Семенов, не сделал столько добра, сколько Ружанскому. Марков Ружанского недолюбливает, на каждом совещании ругает его за непонимание роли новой техники, за нерасторопность, отсутствие перспективы — много страшных слов выискивается для того, чтоб разнести Ружанского. И разве Семенов не остановил руку Маркова на самом размахе, когда тот собирался снимать Ружанского с работы за провал плана? А раньше, до Маркова, ведь именно он, Семенов, и добился для Ружанского ордена Ленина, когда правительство приняло решение наградить их комбинат в связи с десятилетием его существования — он сам, своей рукой, даже кляксу сделал, вписывая Ружанского в список. Значит, это тоже доказано — Ружанский за него. А за рудником — обогатительная фабрика. Там делами вершит Шадрин, начальник ведущего цеха, — фигура путаная и скользкая. Шадрин против него. Этот человек не сможет никогда забыть, как он, Семенов, влепил ему подряд два выговора — простой и «строгач» — за самоснабжение и бытовое разложение. И, если говорить правду, этого было мало: человека, открыто жившего с двумя женами, следовало из партии гнать, а не только выговоры ему выносить. Как он извивался на бюро, когда были представлены прямые доказательства, что он еще и с секретаршей жил. Правда, ловок — с женщинами пошаливал, порой крупно пил, а государственный план, кроме одного случая, не срывал, знал, что головой рискует. Вот он и помог возглавить всю эту группку карьеристов и лизоблюдов Маркова, всех тех, кому так доставалось от Семенова. Гляди на своих людей, Алексей Антонович: нечего сказать, хорош фундамент для твоей технической перестройки заводов — труха да гнилье. Нет, не честностью ты взял, а количеством голосов подвластных тебе людей.

Ну, а раз так, то ясно, что требуется делать. Тут сомнений быть не может. Допущено прямое антипартийное дело — создана тайная группировка, чтобы провалить на выборах его, Семенова, рекомендованного крайкомом в первые секретари. Об этом надо писать в крайком и ЦК. Конечно, придется говорить все начистоту, показать этих Шадриных и прочих такими, каковы они есть; возможно, и ему самому достанется, что до сих пор не заявлял о неблагополучии в отдельных звеньях парторганизации, но зато план Маркова, поначалу так удавшийся, начисто сорвется. Вот так: писать в крайком и ЦК, завтра же писать. Но писать не одному — это будет несолидно; нужно, чтоб его заявление поддержали самые видные, самые уважаемые люди организации, такие, как Лазарев, как Ружанский. Вот с этого и надо начинать — он вызовет к себе их двоих, вероятно они даже сами к нему придут, и они договорятся, как все это можно сделать. Да, Алексей Антонович, мира ты не обещал и не дал — ну, что ж, раз война, значит, по-военному: первый тур ты взял, а дальше — увидим.

Семенов встал. В окне светлело. Он чувствовал голод и усталость. Он вышел в гостиную. На столе стояла нетронутая им еда и холодный чай. Он залпом выпил стакан чая, проглотил бутерброд, потом возвратился в кабинет и лег на диван. Он почти сразу же уснул. Последней его мыслью было: никого не принимать, никого не видеть — только Лазарева и Ружанского, Чибисова уже после них.

3

Его разбудила Лиза. Он поднялся с тяжелой головой, непроспавшийся. Лиза была бледна и растеряна, ее большие круглые глаза с ужасом смотрели на Семенова. Она спросила:

— Васечка, да как же это? Неужто правда? Мне Ружанский встретился, он первый сказал, я не поверила. Потом Чигин повстречался — то же самое говорит. Да как же это? Тебя же крайком рекомендовал, как же они посмели?

— Смелости у Маркова хватит, — усмехнулся Семенов. Ему не хотелось говорить с Лизой. Даже сейчас, когда она все знала, ему было тяжко рассказывать о провале. Но она требовала ответа на все свои вопросы. Он нехотя объяснил: — Все было заранее подстроено, Лизанька. Марков, оказывается, провел перед конференцией агитационную работу. Все делалось тайно, на конференции ни один из них не решился выступить с прямым отводом, а на голосовании развернулись, тут им фамилию мою вычеркнуть смелости хватило: никто не видит, как ты блудишь, а при прямом вопросе можно и отпереться.

— Это все Шадрин, — быстро, убежденно сказала Лиза. — Он, Вася, он, это месть тебе за то, что ты его разоблачил в бытовых делах.

— Я тоже думаю, что Шадрин к этому грязному делу лапу припечатал, — согласился Семенов. — Головою всему, конечно, был Марков, а Шадрин у него в подпевалах.

— Надо было исключить Шадрина из партии, — с гневом проговорила Лиза. — Я тебе тогда говорила: ты его покрываешь... Такого распутника надо гнать, а ты все свое доказывал — производственник он неплохой, нельзя оголять важный цех. Ты его пощадил, а он первый тебе мстит. Они все такие, эти люди; раз он жену каждый день обманывает, значит, ни на что у него совести нет. А ты среди этих лгунов — как честный дурачок, всем веришь.

От возмущения и обиды она заплакала. Семенов отвернулся. Лиза говорила то самое, что он себе твердил этой ночью, — нужно было поступить с Шадриным жестче. Но признаваться Лизе в этой ошибке было опасно — она потом десять лет будет напоминать: вот ты сам соглашался, что я права! И тон ее возмущения ему не нравился — она вносила в это серьезное политическое дело что-то свое, бабье, сугубо личное.

— Что же ты теперь будешь делать, Вася?

И об этом ему не хотелось говорить с ней, пока он не обсудил положения с Лазаревым и Ружанским. Поэтому он ответил неопределенно:

— Вот разберусь в обстановке, поговорю с людьми, что-нибудь придумаю.

— Писать в крайком надо! — воскликнула она. — Жаловаться в ЦК. Немедленно жаловаться!

— Возможно, и в крайком и в ЦК напишу, — сказал он. — Ну, об этом мы как-нибудь потом потолкуем, Лизанька. Ты мне вот что скажи — Ружанский тебе ничего больше не говорил? Не собирается он ко мне зайти?

— Нет, больше ничего не говорил. Слушай, Вася, вызови к себе Ружанского, посоветуйся с ним! — сказала Лиза горячо. — Я уверена, он против тебя не голосовал, ты столько для него сделал, он это ценит. Ты попроси его, чтоб он подписал вместе с тобою заявление в ЦК, не может быть, чтоб он отказался, а там, знаешь, как посмотрят на его подпись — ведь это такой крупный рудник!

Семенов про себя удивился, что жена, независимо от него, приходит к тем же мыслям, что и он. Это было добрым признаком — мысли, явившиеся сразу нескольким людям, обладают большей ценностью. Он сказал заканчивая:

— Ты извини, мне нужно срочно сесть за телефоны. Пусть Пахомовна принесет мне сюда перекусить.

— Хорошо, хорошо, Вася! — сказала она торопливо — она понимала, что ему в самом деле не до нее: нужно вызывать людей и действовать.

Он, однако, несколько минут не решался звонить, потом набрал номер Лазарева. Секретарша Лазарева ответила ему, что директор шахты спустился на горизонт двести двадцать второго метра. Семенов вспомнил — это самый глухой угол шахты, телефонной связи с ним нет.

— Пусть, как придет, позвонит мне, Семенову, — распорядился он, раздосадованный своей неудачей. — Нет, не в горком, прямо домой.

Глупый вопрос секретарши — куда звонить ему, в горком? — рассердил и взволновал Семенова. В нем вдруг снова бурно поднялись ожесточение и горечь. Он сам поразился тому, что может так разволноваться от случайного вопроса постороннего человека, может быть даже не знающего еще, что вчера произошло. Когда он набирал номер Ружанского, руки у него дрожали. Ружанский оказался у телефона.

— Слушай, Сергей Иванович, — сказал Семенов, — я знаю, ты очень занят. Но мы с тобой не первый год знакомы, сам можешь понять, каково мне. Очень прошу, приезжай ко мне сейчас же.

Ружанский сказал коротко:

— Буду через пятнадцать минут, Василий Петрович.

Это быстрое согласие бросить все дела и приехать тоже показалось Семенову хорошим признаком. Несомненно, он в Ружанском не ошибся — этот за него.

Ружанский, войдя, крепко пожал руку Семенова. Он сам казался взволнованным и растерянным — Семенов сразу объяснил это тем, что вчерашняя история сильно подействовала на Ружанского. Не отвлекаясь ничем и не жалуясь, Семенов прямо приступил к делу.

— Нам, Сергей Иванович, не следует особенно копаться и раскладывать, чьих это рук дело, — сказал он. — Ясно одно: история скверная.

— Скверная история, — подтвердил Ружанский, съежившись в кресле и глядя в угол. Это была его привычка — Ружанский, разговаривая, смотрел не на собеседника, а в сторону.

— Очень скверная, Сергей Иваныч. И теперь надо искать выхода из нее. Я, как ты сам понимаешь, этого безобразного дела оставить не могу. Мне помогут честные товарищи из нашей организации, Чибисов окажет свое содействие. Думаю сразу писать в крайком и ЦК партии.

— Стоит ли? — тихо спросил Ружанский.

— То есть как это — стоит ли? — изумился Семенов. — Да разве ты не понимаешь, совершено самое настоящее антипартийное дело. Марков путем тайного сговора с дружками своими добился моего провала, несмотря на прямую рекомендацию крайкома. Как можно такие вещи оставлять безнаказанными? Об этом кричать надо, притянуть людей к ответу, чтоб впредь не повадно было, а ты — «стоит ли»!

Ружанский с сомнением покачал головой.

— Я понимаю твое состояние, Василий Петрович, все в тебе кипит. Но ты задумал рискованное дело. Не соображу, как ты, например, будешь доказывать, что организовали тайный сговор? Стенограммы конференции имеются — тебя критиковал каждый второй выступающий, открыто критиковал, не тайно.

— Да ведь отвода мне прямого не было, — проговорил Семенов, раздражаясь из-за сомнений Ружанского и из-за того, что не мог сразу опровергнуть их. Он сам чувствовал, что его аргументы об отводе не имеют веса, но хватался за них, потому что других доводов не находилось. Он упрямо повторил: — Ты пойми это — не было отвода, а голосовали против. Что это значит? Одно: прямо сказать: «Не голосуйте!» — боялись, а про себя уже готовились.

Ружанский промолчал, еще более съежившись в своем кресле.

Семенов продолжал горячо:

— Возьми второе — работу горкома признали удовлетворительной, а меня отстранили. Кто работал в горкоме? Я работал. Как же это так — моя работа хорошая, а я — плохой? Где же тут логика, я тебя спрашиваю?

— Я за всю конференцию не ответчик, — возразил Ружанский. — Логика, впрочем, тут есть — не ты один работал в горкоме. И я тебе скажу так: многое, что о тебе говорилось, правильно — есть в тебе и грубость, и эдакое диктаторство, и поверхностный подход к делу. Все не буду перечислять, много глупостей говорилось, а здоровые сигналы есть, надо к ним прислушаться.

— Да пойми ты, упрямая голова, не о сигналах речь! — крикнул Семенов, уже не сдерживаясь. — Какой же это здоровый сигнал — кувалдой по башке? К чему мне прислушиваться, когда взяли меня и без всякого Якова в порошок растерли. — Он забегал по комнате. Ружанский, сидя, изредка взглядывал на него, ничего не говоря. Семенов, стараясь быть спокойным, заговорил снова:

— Нет, сигналы тут ни при чем. Тут война, военные действия по форме. Речь идет вот о чем — или Марков меня выживет отсюда, или я добьюсь его перевода. Я это тебе прямо говорю и каждому теперь это открыто скажу. И я тебя как старого товарища, хорошо знающего местную специфику, спрашиваю: подпишешь ты мое заявление о всех безобразиях Маркова?

Ружанский думал, опустив лицо. Семенов, прекратив беготню по кабинету, с тревогой ждал его ответа.

— Нет, — сказал Ружанский наконец, — не могу я такое заявление подписать.

Семенов облизнул пересохшие губы. Он вдруг увидел, что Ружанский смотрит не в сторону, а прямо ему в глаза. И лицо у Ружанского было странное, не такое, как обычно, — уклончивое, а решительное, хмурое, жесткое. Семенов спросил после молчания:

— Значит, не подпишешь? А почему, разреши узнать?

— Потому, что Марков — нужный нашей промышленности человек, — строго сказал Ружанский. — Потому, что он делает большое государственное дело и лучше всякого другого его делает. В тебе говорит сейчас личное раздражение, это я понимаю, а он трудится над подъемом наших предприятий на новую техническую высоту, и не надо ему мешать.

— Он трудится, а мы что же? — спросил Семенов горько. — Мы баклуши бьем, так, что ли, по-твоему? За что ты орден Ленина получил и другие свои ордена? За то, что в домах отдыха за девушками ухаживал? Как же это ты так — все ему? — Он вспомнил о столкновениях между Ружанским и Марковым и едко сказал:

— Не всегда ты был такого хорошего мнения о Маркове, Сергей Иванович, не всегда, дружок. Помнишь, как он тебя с трибуны с грязью смешивал, а ты огрызался? Тогда он тебе не казался крупным государственным деятелем, а теперь ты в нем масштабы открыл. А почему, интересно знать? Не потому ли, что тогда он хотел съесть тебя, а я не дал, а теперь он только меня съедает и тебя это мало касается?

— Нет, не поэтому, Василий Петрович, — ответил Ружанский. Он был бледен, но спокоен. И, видимо, жестокие упреки Семенова были так ему неприятны, что он в первую очередь должен был ответить на них — слова его казались не возражением, а оправданием: — Мое положение незавидное, Василий Петрович, ты в трудную пору моей жизни крепко за меня встал, только это и спасло меня от тяжелой руки Алексея Антоновича. Ну, а я от помощи тебе вроде отказываюсь — можно мне в лицо оскорбления бросать, покажутся правдоподобными. А мне, если хочешь знать, легче было бы тебе помочь, чем отказывать в помощи, и много легче! Не из трусости я тебе говорю: нет! Я иначе понимаю обстановку. Так велит мне партийная совесть — это выше, чем дружеские отношения, Василий.

Семенов угрюмо молчал. Ружанский продолжал все более убежденно:

— Давно я хотел вмешаться в ваши распри, сказать тебе прямо: одумайся, Василий Петрович, ты неправ. И на конференции хотел выступить с этим же — не сумел. Характер проклятый мой — не могу без спросу неприятности говорить, ты за этот мой характер сам меня ругал, знаешь его. А я видел, Марков прав, а ты — нет.

— Выходит, Марков прав, а я — нет? — с хмурой насмешкой переспросил Семенов. — Может, откроешь секрет — в чем он прав, а я нет?

— Да взять хотя бы положение на руднике, — твердо сказал Ружанский. — Ты мне каждый день звонишь, с бедняги Верховенского по три стружки ежедневно сгоняешь, все требуешь заседания проводить, дергаешь, накачиваешь людей, заставляешь их из последних сил биться, чтоб на процент повысить выработку. А Марков, если хочешь знать, по неделе мне не звонит, не дергает меня, он знает: все, что можно сделать, я сам сделаю.

— Да что здесь хорошего? — изумился Семенов. — Человек за план бороться перестал, самоустранился, а ты его хвалишь за это. Нет, я не таков, верно, я из людей все выжму, на геройство их подниму, а план заставлю дать.

— Ах, ничего ты не понимаешь, Василий Петрович, — с досадой проговорил Ружанский. — Слова твои хорошие, верные, но — как бы это объяснить? — пустые они у тебя. Не понимаешь ты современной обстановки, а Марков ее понимает. Он поднимает выработку не на процент, ценою тяжких усилий, как ты, а обеспечивает условия для повышения ее на сотни процентов. Он заставил наших инженеров разработать конструкцию нового горнопроходческого щита, этот щит заменяет сотни рабочих. Если один только щит пустить, подземный рудник по добыче руды сразу забьет рудник открытый, и кончатся наши бедствия. А для нас три таких щита изготавливаются на машиностроительном заводе. Марков непрерывно подталкивает министерство, чтоб скорее выполнило заказ.

— Знаю, знаю: сами не справляетесь, к чужому дяде пошли — помоги.

— Какой же это чужой дядя, Василий Петрович? Такой же советский завод, как и мы.

— Ну ладно, спорить больше не будем. Песни твои в честь Маркова мне слушать не хочется. Значит, так: присоединяться к моему письму не будешь?

— Не буду, — твердо сказал Ружанский. — И тебе советую: не начинай новой драки, Василий Петрович.

— Это уж мое дело.

Ружанский встал. Семенов угрюмо смотрел на него. Обескураженный своей неудачей, Семенов не мог еще примириться с ней. И внезапно к нему пришла все объясняющая догадка. У него даже заметалось сердце и похолодели руки.

— Слушай, Сергей, — бледнея сказал он хриплым голосом. — А ты не... это... не против меня голоснул?

Он видел, как Ружанский вздрогнул и снова отвернул лицо.

— Ну, знаешь, голосование тайное, — уклончиво сказал Ружанский. — Объясняться по этому поводу не намерен.

— Так, так, — проговорил Семенов. — Так, так, тайное, значит. — Сдерживаемое им негодование вырвалось наружу бурно и неудержимо. — Трусы! — кричал он, наступая на опешившего Ружанского. — Открыто дать отвод — боитесь, а втихомолку шкодите! Всего мог ждать, но чтоб ты связался с Шадриным, со всей этой мерзопакостью, этого не ожидал! Шадрин и Ружанский — хороша компанийка! И тебе не стыдно? Я спрашиваю, тебе не стыдно, Сергей?

Ружанский ответил с достоинством:

— Сейчас с тобой говорить бессмысленно, Василий Петрович, ты себя не помнишь. Если хочешь, я к тебе потом приду, тогда еще раз поговорим. А, впрочем, по-моему, все ясно.

Он вышел, осторожно прикрыв дверь, а Семенов, мрачный, подавленный, упал в кресло.

4

Уже через минуту он вскочил и кинулся к телефону, стоявшему на отдельном столике, — вызывать Лазарева. Секретарша ответила:

— Иван Леонтьевич пошел в вентиляторную проверить, почему в шахту мало воздуху подают.

Семенов в бешенстве крикнул:

— Да вы ему передавали, чтобы он мне позвонил?

Бесстрастный голос секретарши ответил:

— Передавала. Иван Леонтьевич сказал: освобожусь — позвоню.

Семенов в волнении зашагал по кабинету. Он совсем растерялся. Стройное, убедительное объяснение вчерашнего происшествия, созданное им ночью, неожиданно дало трещину. Главное звено этой логической цепи Ружанский — оказался не друг, а враг. Это было чудовищно, немыслимо, не лезло ни в какие ворота, но, тем не менее, было. И из-за этой новой неожиданности становились непрочными другие звенья построенной им логической цепочки. Семенову уже казалось, что все было неправильно в его рассуждениях и что нужно думать сначала, искать нового объяснения, разрабатывать новый план действий. Он остановился и с гневом топнул ногой.

— Ну хорошо! — крикнул он самому себе. — Допускаю, ты ошибся, переоценил этого тихоню: думал, он — как ты, на добро отвечает добром, а он за хлеб платит камнем. Пусть — мало ли на свете карьеристов и лицемеров, до самого полного коммунизма никто не пожалуется на недостаток этой дряни. Но ведь остальное-то, остальное все верно? Верно, конечно. Марков ясен: это враг, он спит и видит, как выгоняет тебя отсюда; день, когда ты возьмешь билет на самолет, будет самым радостным днем его жизни. И первым прихлебателем и прихвостнем у него Шадрин, это тоже неоспоримо. А Лазарев за тебя, хоть и не нашел времени сам позвонить. Так чего ты заметался, словно щука на сковородке? План намечен правильный — иди, осуществляй его. И самое главное, не слезай с телефона, добивайся Лазарева.

Но звонить Лазареву не пришлось — вошла Пахомовна и доложила:

— Василий Петрович, к вам Шадрин.

Семенов был поражен. Он хотел крикнуть: «Гоните к черту!» — он ожидал чего угодно, но только не прихода Шадрина. Однако выгнать его не удалось: Шадрин, уже раздевшись, шел вслед за Пахомовной. Он сказал, протягивая руку:

— Здравствуй, Василий Петрович.

Семенов нехотя поздоровался — ему было трудно пожимать руку Шадрину. Самым неприятным было то, что в голосе Шадрина слышалось сочувствие, словно он и не был одним из организаторов всей этой пакости, — свалившейся на Семенова. Семенов гневно подумал: «Заметать следы пришел — врешь, не выйдет!» И он решил: если Шадрин примется расписывать свою нейтральность, доказывать, что он тут ни при чем, гнать его немедля!

Шадрин сказал очень серьезно:

— Поверишь, Василий Петрович, ночи не заснул после вчерашнего голосования — все думал, искал объяснений. Сегодня работать не мог, провожу планерку, а в голове — ты. Решил все бросить, поехать к тебе, посоветоваться. В горкоме мне сказали, что ты не приезжал. Ну, я прямо сюда. И вот знаешь, что я тебе скажу, — прошляпили мы это дело. И твоя вина большая, и я за собой солидную часть вины признаю.

— Хорошо, хоть признаешься, — криво усмехнулся Семенов. — Если совесть грызть стала, значит, не всю еще потерял.

Шадрин с недоумением посмотрел на Семенова; видимо, ему было не до расшифровки намеков, — он заговорил о своем, не желая терять нить мыслей:

— Конечно, виноват, Василий Петрович. Это я еще вчера понял. И знаешь, в чем я виноват? Знал, что против тебя готовится обструкция. Ребята почти совсем не скрывались, открыто заявляли, что против тебя проголосуют. Волков мне прямо говорил: «Постараемся неприятность Семенову оборудовать; если и пройдет он, так только жалким большинством голосов». Вот эту вину за собой признаю — не пошел к тебе, не предупредил, что готовится поход на тебя. Правда, я думал, что ты сам все это знаешь, и у тебя все твои враги на учете — примешь свои меры. А когда все они поперли на трибуну, я просто перепугался. Но ты сидел спокойный, смеялся с Чибисовым, у меня отлегло от сердца — ну, думаю, раз он такой, значит, все ему известно и ничего из их затеи не выйдет. Потом, когда стали голоса подсчитывать, чуть не закричал, да уже было поздно.

— Так, так, — сказал Семенов сдавленным голосом. — Значит, в том, что не предупредил о пакостях всех этих ловкачей, что знал о сговоре и не помог его сорвать, — эту вину ты за собой признаешь. Ну, а в том, что сам участвовал в этом сговоре и голосовал против меня, — это признаешь?

Я? Голосовал против? — с изумлением переспросил Шадрин. Негодующий, растерянный, он глядел на Семенова во все глаза. И Семенов вдруг с ужасом понял, что он ошибся и тут — не мог человек, смотрящий на него такими глазами, голосовать против. Он попытался еще бороться против этого — неожиданного и страшного — удара. Он проговорил, стараясь но показать своего волнения:

— Запираться думаешь? Не выйдет, Шадрин. Все о тебе знаю — ты был заодно с ними.

— Глупости! — ответил Шадрин, овладевая собою. Он повторил презрительно: — Глупости! Думал, знаю тебя, Василий Петрович, а вот что в глупости веришь, об этом не подозревал.

Семенов сидел, не находя слов. У него было ощущение, что все вдруг поплыло, закачалось под ногами. Он проговорил, чтоб хоть что-нибудь сказать:

— Не верю я тебе, Лев Николаевич. Чем докажешь, что ты не с ними?

Шадрин не заметил растерянности в словах Семенова и подумал, что он требует серьезных доказательств. Он заговорил горячо и убежденно:

— Пойми, Василий Петрович, как я могу встать на тебя? Разве я зверь — я не забываю сделанное мне добро! Сколько лет вместе работаем, все было хорошо. Конечно, ругал ты меня, как и всех, ну, я понимал — не со зла, форма у тебя такая, для подталкивания делается. Против формы я ничего не имел, хотя, бывало, крепко доставалось. А потом началось это проклятое дело, и я до дна понял твое благородство. Все нити сошлись у тебя; скажи ты тогда слово, летел бы я с грохотом из партии. Сколько врагов у меня, и все ждали сигнала вцепиться. А ты замял всю эту гадость, дал установку — поругать и отпустить. Я когда на бюро шел, считал: отдаю билет. А когда ты сказал сурово: «Строгий ему» — так, веришь, словно взяли меня и вывели из смертной камеры на воздух и сказали: иди! Такие вещи по конец жизни не забываются, Василий Петрович. Знаешь, я с Марковым тогда возвращался с бюро, он очень был во мне заинтересован — я первые промышленные гидроциклоны пускал в это время. И даже он сказал мне: «Везет вам, Лев Николаевич, крепкого заступника нашли, прямо вам говорю — если бы Семенов предложил исключить, пришлось бы нам всем голосовать за исключение».

Шадрин не подозревал, с каким чувством слушает его Семенов, — слова Шадрина кололи его, как раскаленные иглы. У него даже лоб вспотел от напряжения. Он вынул платок, вытер лоб. Потом сказал глухо:

— Так я не понимаю — с чем ты пришел ко мне?

— Действовать надо, не сидеть! — чуть ли не крикнул Шадрин. — Пиши в ЦК, пиши в крайком. Я понимаю, одному тебе действовать неудобно, как-никак ты за свои личные интересы дерешься. Привлеки нас — я первый свою подпись поставлю под заявлением!

То, что услышал от Шадрина Семенов, все еще казалось ему невероятным, противоречащим всему, в чем он успел себя убедить.

— Подпись свою поставить — значит, начать открытую войну с Марковым. Сколько я знаю, отношения у вас хорошие.

— Плохо ты их знаешь, эти отношения, Василий Петрович, — ответил Шадрин. — Никогда ты к ним особенно не присматривался, оттого так и судишь. Вообще, замечу тебе, в людях ты не очень разбираешься, здесь корень твоих злоключений. Отношения у нас с Марковым отвратительные, они только внешне терпимые. Рано или поздно он меня съест, и я это хорошо знаю.

— Да чем же они плохие? — искренно изумился Семенов.

— Чем! Со дня приезда Маркова я потерял не только покой — всю личную жизнь потерял. Ночей не сплю, на душе вечная тревога. У тебя вот форма жесткая — нашумишь, нагрубишь, любишь начальником держаться, не терпишь, если кто перечит, а по сути ты человек добрый, зла не делаешь. Бывает — разнесешь человека с трибуны, а через час ласково ему улыбаешься. И все понимают — форма, не можешь ты не разносить, поскольку непорядок: тебя самого за холку схватят, если в стенограмме не будет крепких слов. Жить с тобой можно, работать можно — это все понимают. Вот как ты за людей горой встал, когда Марков принялся их раскидывать. У тебя человек на первом месте. А Марков не такой. На первом месте у него дело. Форма у него мягкая, всем почти «вы» говорит, а существо такое жесткое — дальше идти некуда. И что самое тяжелое в нем — никогда не знаешь, что он завтра выкинет. Я старый хозяйственник, двадцать пять лет в цеху, в годы войны два ордена получил, а никогда еще не было так трудно, как этот год с Марковым. Раньше, я знал, требовалось — жми, дави. Ну, жал, давил, сутками не вылезал из цеха, добивался максимума. И это было хоть не легко, а все же просто, Василий Петрович, — те же щи, только погуще шли. А Марков требует новых блюд, он мне как-то даже сказал, когда я все агрегаты запустил, чтоб выгнать два процента выше плана, и не просто сказал, а с презрением, при всех: «Неумная политика, товарищ Шадрин: процент добудете, пять потеряете на износе оборудования и пропуске запланированных сроков ремонта. Вы лучше думайте, как рационализировать и усовершенствовать работу. Просто нажать каждый дурак умеет». Вот эти гидроциклоны — с ними я за эти два месяца на десять лет постарел. Аппараты новые, неосвоенные, внедрять их — директивы сверху нету, кто знает, как они еще могли бы пойти, а он все с ними носился, ни о чем другом не хотел слушать. Ну, в тот раз они нас выручили, да ведь это система — трепать людям нервы, непрерывно лезть в незнакомое, а чем оно обернется — орденом или потерей головы, — никто не знает. Я тебе от всей души говорю, Василий Петрович: жить с тобой проще и легче, чем с Марковым.

Все это тоже было ново и походило на дурной сон. Семенову казалось, что он увидел себя в кривом зеркале. И самое страшное было в том, что он не смел не верить — все это было правда, он просто не знал этой правды, а на деле он именно таков, каким его рисует Шадрин. Тяжелый, слепой гнев поднимался в нем — Семенову не хватало воздуха.

— Поэтому я тебе и предлагаю: пиши заявление, а мы подпишемся, — продолжал Шадрин. — Я долго думал об этом и вижу — позиции у них слабы, перестарались они в своем усердии. Очень даже можно Маркову с его помощниками — Ружанским да Лазаревым — всыпать по первое...

Если бы Шадрин не произнес этих последних слов, Семенов сумел бы промолчать и отпустить его с миром. Но клеветы на Лазарева он не мог перенести. Он встал и наклонился над Шадриным.

— Слушай, ты! — сказал он с бешенством. — Сейчас же уходи отсюда!

Шадрин трусом не был. Но, видимо, Семенов был страшен — на лице Шадрина появились растерянность и испуг. Он сказал поднимаясь:

— Что ты, что ты, Василий Петрович, я ведь тебе от всего сердца...

— Уходи! — яростно требовал Семенов. — Черное твое сердце... Не нужно мне помощи твоей, не нужно! Уходи!

Шадрин попятился к двери. Он ничего не понимал. Он вдруг крикнул:

— Да что с тобой, с ума ты, что ли, съехал? Ведь провалили тебя — если не примешь меры, кончено твое дело!

Он с вызовом стоял в дверях, готовый к спору, готовый вести настоящий, серьезный разговор. Семенов, уже остывая от первой вспышки ярости, сказал с ненавистью:

— Вон ты какой — в сто раз хуже, чем думал. Значит, я тебе нужен, чтоб завалиться набок, успокоиться, плюнуть на интересы государства, думать только о себе? Как ширма я тебе требуюсь, чтоб не видели твоих делишек, так, выходит? Нет, не нужна мне твоя помощь, Шадрин! Легче мне сидеть вот так, побитому, чем твоей рукою карабкаться вверх. Уходи и забудь дорогу к моему дому!

Теперь Шадрин понимал все. Оскорбленный и злой, он смотрел на Семенова с насмешливым презрением. И последние его слова были полны того же яда, что и его взгляд:

Ладно, уйду. Только ты не надейся — чистюли твои на поклон к тебе не явятся...

Семенов был в таком возбуждении, что не сразу сообразил, каков смысл этих слов. Когда он разобрался в том, что сказал Шадрин, он понял: Шадрина нужно бить, как поганого пса. Но Шадрина уже не было.

5

Самое мерзкое было то, что его поддерживает Шадрин. Он застонал от ярости, представив заявление в крайком и ЦК на Лазарева и Ружанского, подписанное Семеновым и Шадриным. Немыслимо было сопоставление «Семенов — Шадрин», еще немыслимей было противопоставление: «Лазарев — Семенов». Он снова схватил телефонную трубку.

Голос секретарши сказал уныло:

— Иван Леонтьевич возвратился из вентиляторной, я ему напомнила о вашем звонке. Он сказал: ладно, успею. Позвоните, товарищ Семенов, через час — Иван Леонтьевич поехал в электроцех.

Семенов даже зубы стиснул — вот как с ним стали разговаривать всякие секретари: позвоните через час, товарищ Семенов. А вчера ты бы сто раз сама позвонила и называла меня не «товарищ Семенов», а «Василий Петрович». Быстро забывают люди тех, кто попадает в беду, быстро. Но самое главное — что это значит: успею? Время идет, каждый час дорог! Разве он этого не понимает? Нет, нет, он, Семенов, не верит клевете Шадрина, Лазарев не может быть против него; но почему же такое равнодушие? Он-то должен понимать состояние Семенова, как же это он говорит — успею?

Семенов снова заметался по кабинету. У него было такое ощущение, что все вокруг него рушится. Второй раз он ошибся — в первый раз с Ружанским, теперь с Шадриным. Нет, эти ошибки не случайны, где-то он серьезно напутал, тут надо все рассмотреть до конца и добраться до истины.

— Ведь если этот мерзавец прав!.. — крикнул он самому себе.

Он вдруг с острой болью вспомнил замечание Шадрина о Волкове. Волков шел на конференцию с прямым желанием провалить его, Семенова, сам открыто признавался в этом. Ведь это черт знает что такое — всего две недели назад он вызывал Волкова в горком, беседовал с ним по-дружески, говорил о выполнении плана, давал советы провести беседы и собрания с рабочими, напоминал, что план — первая заповедь производственника, а все остальное — второстепенное. Волков соглашался с ним, заверил, что не подкачает, поблагодарил за науку. И тот же Волков против него, открыто кричит об этом! Нет, Шадрин прав: чего-то он, Семенов, в людях не понимает...

Семенову стало трудно дышать — появилась боль в сердце. Он прилег на диван. Боль медленно спадала, а в голове все закружилось. Сон овладевал им, как хмель, — все более вялыми становились движения, потом стали путаться мысли. Последней из них была все та же: «Через час... позвонить Лазареву». Он спал, измученный, часа два. Уже перед самым вечером его разбудила Пахомовна:

— К вам этот... ну — из края!

Она никак не могла запомнить и произнести трудную для нее фамилию Чибисова. Семенов вскочил, принялся растирать ладонями заспанное лицо. Он сказал торопливо:

— Пусть входит, Пахомовна.

Чибисов вошел в пальто. Он бросил его на диван и присел в кресло. Он был в том же костюме, что и вчера на конференции, на груда блестела Золотая Звезда. Умными, проницательными глазами Чибисов пристально посмотрел в лицо Семенову. У Семенова сразу потеплело на сердце, он почувствовал: сейчас будет настоящий, хороший разговор, не то что его беседы с теми двумя...

— Поспал немного, — одобрительно сказал Чибисов. — Дело, друг, дело, по новой теории сон — лучшее лекарство от всех скорбей.

Семенов махнул рукой.

— Не до сна, Виталий Трифонович. Ноги не держали больше — свалился...

— Ну как, переживаешь? — спросил Чибисов, поглаживая ладонью колено и хмурясь. — Ладно, ладно, не отвечай, сам вижу. Такие вещи нельзя не переживать, понимаю. Ты мне скажи вот что, — он приблизил свое лицо к лицу Семенова, зорко и испытующе смотрел на него: — Что сейчас собираешься делать?

Семенов молчал. После того, что случилось с ним сегодня, ему уже страшно было признаваться в своем вчерашнем решении. Но другого решения не было, а отвечать было нужно. Он с трудом проговорил:

— А что мне остается? Буду писать в крайком и ЦК. Надеюсь на твою поддержку.

Чибисов снова погладил колено.

— Так, так. Не спорю, желание естественное. И надежда на мою поддержку естественна — я тебя рекомендовал от крайкома, я за тебя отвечаю. По форме — допустимо.

— А по существу? — спросил Семенов настораживаясь. Ему чудились в словах Чибисова нехорошие нотки.

— А по существу — нецелесообразно, — спокойно сказал Чибисов. — Постой, постой! — отмахнулся он от возмущенного Семенова. — Дай сказать; чтобы писать в ЦК, надо иметь веские основания. А их нет.

— Как нет? — гневно вскрикнул Семенов. — А то, что был тайный сговор, что Марков создал свою группку и выступил с ней на конференции, это, по-твоему, не основание? А то, что крайком рекомендует, а они заранее сговариваются плюнуть на все?.. Да я не знаю, что тебе еще нужно тогда, если этого мало!

— Мало, — подтвердил Чибисов серьезно. — Знаешь, я к тебе утром не пришел сознательно — ходил разговаривать с людьми, сам все думал. Много здесь и моей вины — прилетел я к самому открытию конференции, с людьми предварительно не побеседовал, кроме Маркова...

— С Марковым, значит, разговаривал? — заинтересовался Семенов. — А мне почему не сказал?

— А что было говорить? — возразил Чибисов. — Марков меня предупредил, что будет выступать против тебя, объяснил, почему. Ты сам не глуп, знал, как он относится. Только вот что, давай так — вопрос сложный, лучше, если мы его по порядку.

— Ну хорошо, Виталий Трифонович, пусть по порядку.

— А первое по порядку то, что выступали открыто, не стеснялись, можно было заранее многое предугадать. Помнишь, я предупреждал тебя — ты не поверил. Между прочим насчет рекомендации ты неправ. Рекомендация не обязательна, на то она и рекомендация, а не приказ — вроде так, по существу устава.

— Да ведь пойми — плюнули на рекомендацию.

— В крайкоме не боги сидят, могут и они ошибиться — дать малообоснованную рекомендацию; массы снизу их поправят, это возможно. Соглашаюсь, случай редкий, потому что думают и прежде чем дать рекомендацию, ну, а все же, повторяю, возможно. Почему не допустить, что именно такой случай и имеет место? Вполне допустимо. Это первое. Второе — чем ты докажешь наличие антипартийной группки? Обвинение серьезное, такими словами не бросаются, Василий Петрович. Думаю, нет ее. Такая характерная мелочь — нигде на низовых совещаниях Марков против тебя но выступал, сепаратных совещаний своих сторонников не проводил, да и нет этих сторонников какой-то его, особой линии. Теперь следующее, гоже вполне объяснимое...

Семенов нетерпеливо и грубо прервал его:

— Не понимаю, Виталий Трифонович, что с тобой произошло за день? Что за язык, совсем непохоже на тебя — допустимо, возможно, объяснимо!.. Да мало ли что на свете допустимо теоретически? Речь идет о практике. Вот я тебя спрашиваю — кому выгодно было меня провалить? Для кого я стал нестерпим, неудобен? Только поставь этот вопрос и сразу получишь ответ, и правильный ответ, не эти твои абстрактные «допустимо», «возможно».

Чибисов ответил не сразу — он думал, что-то вспоминал, что-то сопоставлял.

— Сперва и я так вчера ставил вопрос — от неожиданности. Не забывай, что все это происшествие и меня близко касается, так же близко, как тебя. Я рекомендовал тебя от имени крайкома. С моей рекомендацией не посчитались — тем самым выразили недоверие и мне. И первая мысль — из-за каких-то личных выгод провалили хорошего человека, в которого ты веришь, создали склоку, беспринципную и грязную, и в интересах склоки принесли в жертву твоего кандидата, кандидата крайкома.

— Правильно! — воскликнул Семенов. — Вот это ты правильно говоришь, Виталий Трифонович! А раз так, надо дать по рукам всем тем, кто разводит склоку, чтобы впредь не повадно было.

Чибисов, невесело усмехаясь, покачал головой.

— Я же сказал тебе, Василий Петрович, это первая мысль была, самая горячая. А если трезво судить — все личное надо отбросить, посмотреть на дело с принципиальной стороны. Поэтому я и разъезжал сегодня, беседовал с людьми. И вывод мой таков: не в склоке дело, не в личных твоих дрязгах с Марковым. Конечно, все это сыграло какую-то роль, но суть в другом, в более глубоких причинах — масса партийная тебя провалила. Сейчас мне совершенно ясно, что ты оторвался от партийных масс, не вожак им, пошел против них. Ты вот все на группку Маркова валишь, а дело в самом тебе. И я прямо говорю — большой своей виной, виной крайкома считаю, что не заметили мы этого всего раньше и своей рекомендацией тоже в какой-то степени пошли против масс.

Семенов сидел подавленный. Он хорошо знал Чибисова — тот слов на ветер не бросал. Если сейчас он отказывается от своей рекомендации, значит, он искренно верит, что это правильно. И дело было не в трудностях борьбы, которую хотел начать Семенов и поддержать которую Чибисов отказывался, — Чибисов трудностей не боялся, это Семенов тоже знал, — а в том, что он считал эту борьбу неправильной. Горечь и возмущение охватили Семенова, он с гневом бросил Чибисову в лицо:

— Значит, и ты отвертываешься, Виталий Трифонович? Стоило десятку карьеристов и прихлебателей Маркова кинуть в меня камень, как все пугаются и кричат: «Семенов переменился, Семенов негоден!» А, может, это вы переменились, а не я? Вчера ты меня расписывал — энергичный, исполнительный, решительный, много всякого наговорил. А сегодня — оторвался от масс, не вожак. А я и вчера и сегодня все тот же — вот гляди, ничего не изменилось. Откуда же у тебя такая перемена?

— Знал, что задашь этот вопрос, — спокойно возразил Чибисов. — Знал потому, что сам этот вопрос себе задавал. И ответ на него имею. Почти все, что относится к твоим личным качествам — энергия, настойчивость, исполнительность и прочее, — все это правильно было мною указано, не откажусь и сейчас. Больше скажу — среди других наших секретарей ты именно и выделяешься своей энергией и исполнительностью, все директивы крайкома ты выполнял. Но наш взгляд на тебя — это взгляд сверху, а он бывает иногда односторонний. Если смотреть сверху, вид у тебя хороший. А вот низы видят многое иначе, и это мы узнали только сейчас, что, конечно, нам в заслугу поставить нельзя. Знаешь, как тебя характеризуют люди в частном разговоре? Глушитель инициативы, вельможа, грубиян, не умеет обращаться с людьми. Отзывы неважные, сам понимаешь.

Семенов вскочил с кресла, как ужаленный.

— Это я-то не умею работать с людьми? — закричал он, ожесточенно защищая себя. — Это я бюрократ и вельможа? А я тебя спрошу — есть ли другой партийный работник здесь, в Рудном, который так знал бы всех людей, как знаю их я? Есть ли другой человек, который так умел бы поднять людей, вдохнуть в них энергию, повести в бой за план, за директивы, за решения партии? И разве вы в крайкоме не отмечали это всегда? Что же ты молчишь, Виталий Трифонович? Или сегодня, после моего провала, признавать это уже неудобно? Не подходит под ярлычок, который на меня наклеиваешь?

Он с вызовом, с гневом ждал ответа. Он видел, что Чибисов смущен и не находит слов для возражений, и в самом деле, слова Чибисова, когда он, наконец, заговорил, выдавали растерянность:

— Сложное ты, Василий Петрович, явление, меньше всего под ярлычки подходишь. Все, что ты сказал, правда — так мне и раньше всегда казалось, так и сегодня кажется. Но не верить всем людям, с которыми беседовал, не имею права. Многое еще мне самому не ясно, до конца разобраться пока не сумел. Слишком все это неожиданно, требуется время, чтоб осмыслить. Но главное понимаю ясно и снова повторю — от масс партийных ты оторвался, в этом корень зла — не улавливаешь ты их новых стремлений и требований.

Семенов сердито отвернулся от Чибисова. Он терял интерес к разговору. Он знал, что все слова теперь напрасны — Чибисов своего нового мнения не изменит. Чибисов, угадывая его состояние, проговорил более мягко:

— Шел к тебе выкладывать всякие неприятности — анализировать, доискиваться причин. Много неприятного уже высказал. А сейчас не в укор тебе, а просто так — мыслями своими хочу поделиться. Ведь такая же история, что с тобой случилась, и со мной происходила.

Семенов с недоумением посмотрел на него.

— Я имею в виду ощущение отрыва от масс. Знаешь, последняя моя стройка — гидроэлектростанция на юге, та самая, за которую дали мне эту Звезду. Было у нас там трудное время — зимой образовался затор, экскаваторы нормы не дают, землесосный снаряд, тогдашняя новинка наша, отстает, бетонный завод капризничает, ну, и самое главное — непорядки с подвозом материалов и продовольствия. Посовещались мы с парторгом и решили поставить на рабочем собрании мой доклад — поднимать дух. В докладе я по шаблону нажимаю на общие вопросы — значение нашего строительства для страны, труд — дело почетное, обещаю высокие награды, говорю, что улучшим еду, самодеятельность организуем, стенгазеты оживим и всякое такое прочее. Говорю и чувствую: не доходят мои слова, нет контакта с людьми — горящих глаз, ответного шума на каждое крепкое словцо, восклицаний, реплик. В перерыве парторг меня поздравляет, а я недоволен. Очень скверное это состояние, признаюсь прямо, — будто в пустоту проповедую.

Семенов угрюмо и невнимательно слушал Чибисова — он думал о своих делах.

— После перерыва начинаю отвечать на вопросы, и тут меня сразу ошарашило — все вопросы как раз о том самом, о чем я умолчал. Ни одного слова о стенгазетах, еде, наградах, а все деловые, технические вопросы: почему норма запчастей мала, нет цемента, тросы плохого качества, нет третьей смены на мехзаводе, мала мощность электростанции и прочее. В первый момент не поверил: что это, рабочее собрание или совещание инженерно-технических работников? А потом ринулся напролом — говорю так, как на коллегии в министерстве стал бы докладывать. И вижу, зал словно преображается, все глаза на меня, шум, оживление, смех, прежнего равнодушия — ни капли. И уже знаю: доклад был чепуха, накачка, а вот эти вопросы и отпеты на них — настоящее. Пришел я домой и растерялся — что же это такое, выходит, недооценил я нашего рабочего, думал, он проще меня, а он вовсе не такой, он властно требует — делись всем, чем сам страдаешь, вместе подумаем, как справиться. Поверить в это было трудно, застрял у меня в голове образ рабочего первых наших пятилеток с его двумя-четырьмя классами образования. Специально стал проверять свое впечатление — дал кадровикам задание подготовить справку о возрасте и образовании рабочих ведущих профессий и пошел по баракам и палаткам — знакомиться с бытом.

Семенов с упреком посмотрел на Чибисова. Он словно говорил ему этим взглядом — все это интересно, но мне сейчас не до того, у меня горе, нужно срочно что-то предпринять, а не вести отвлеченные разговоры. Но Чибисов, преследуя какую-то свою цель, сделал вид, что не понял этого ясного взгляда, и продолжал:

— И вот по справке получилось, что на моей стройке средний возраст рабочих ведущих профессий — двадцать семь лет, а среднее образование — восемь классов. Ты это представляешь? Мне рабочий рисовался таким, каким он был лет двадцать назад, когда нынешний рабочий еще в прятки играл, А теперь он вырос, почти что среднее образование имеет, всю жизнь свою при советской власти прожил, культурен, у него запросы большие, а я к нему по старинке с накачкой, примитивом — стенгазета, улучшение еды, самодеятельность... Ты меня не пойми плохо: и стенгазета, и еда, и самодеятельность — все это нужно, да ведь этим не ограничишь интересы рабочего. И взгляд его шире, и культура выше, и технические знания глубже, чем я это представлял, он требует нового к себе уважения — дай ему это уважение. И вот с той поры, как я это понял, я и датирую начало перелома на стройке. Снова нашел я потерянный контакт с массами, и дело у меня пошло. Конечно, от многих старых привычек пришлось отказаться, вначале было трудно, но ничего — главное, знал: правильно это.

Чибисов подошел к Семенову и положил руку ему на плечо. Тот повернулся — у него было усталое, потемневшее лицо.

— Все это верно, Виталий Трифонович, — хмуро сказал Семенов, — да ведь это вопросы общие а мне надо решать вопрос сегодняшний, настоятельный: что сейчас делать?

Чибисов некоторое время ходил по кабинету.

— У меня к тебе такое предложение, Василий Петрович. Покинуть Рудный тебе следует — слишком уж большой скандал. Что, если ты поедешь на партийные курсы, обновишь старые знания, приобретешь новые, а потом снова на партийную работу — в другое место, конечно?

Он стал подробно доказывать целесообразность своего предложения. Семенов уже в тот момент, как Чибисов признал рекомендацию крайкома ошибочной, понял, что он предложит что-нибудь в этом роде. Но сейчас ему было горько слышать, что Чибисов так легко и быстро отказывается от заступничества и перекладывает всю вину за случившееся на него одного. Семенов проговорил, не глядя на Чибисова:

— Подумаю, Виталий Трифонович. Сразу дать ответ не могу.

— Думай, думай, Василий Петрович. Я понимаю — сразу на такие вещи ответа не находят. — Чибисов заторопился, схватил пальто, натянул его на себя. — Ну, прощай пока. Так что же, завтра дашь ответ?

— Завтра дам.

Проводив Чибисова, Семенов лег на диван. Им овладела тяжелая, мучительная усталость — ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать. Так он лежал около часа, обессиленный, потом вспомнил о Лазареве и дотащился до телефона. На шахте долго не отвечали, он терпеливо звонил и звонил, пока чей-то женский голос не сказал ему: «Чего звоните? Все ушли по домам, начальник тоже ушел».

Он снова лег на диван. Теперь его усталость превратилась в сонливость. Он медленно впадал в забытье. Все расходилось в стороны и отделялось.

Но он не заснул. Он вдруг встрепенулся и вскочил с дивана. Усталость и сонливость сразу слетели с него, словно и не было их. Одно желание, одна мысль томили его — видеть Лазарева, во что бы то ни стало видеть Лазарева. Если Лазарев сам не хочет идти — что же, он пойдет к нему домой. Он вышел в гостиную. Лиза поднялась ему навстречу. Он поразился, увидев ее лицо. Она, видимо, недавно плакала и казалась измученной и похудевшей. Он торопливо поцеловал ее и сказал:

— Прости, Лизанька, ты сама понимаешь...

Она спросила с надеждой:

— Есть что новое, Вася?

Он ответил с той же торопливостью:

— Есть, есть, многое проясняется, становится понятным.

Лицо у нее посветлело. Он с болью отвернулся от нее. Если бы она знала, что именно проясняется, это было бы для нее новым ударом. Он вышел на лестницу и остановился. Кто-то поднимался, кашляя, шумно дыша, постукивая палочкой по ступенькам. Он сразу узнал эти знакомые звуки — и кашель, и шумное дыхание, и стук палочки.

Это шел Лазарев.

6

Лазарев сначала подал ему свою палку, а потом протянул руку. Он шел в кабинет впереди Семенова — высокий, сутулый, крепкий старик. Он сел на диван, вытер седые, коротко подстриженные жесткие усы, пригладил руками волосы. Семенов всматривался с волнением и тревогой в его лицо — бодрое, решительное, с очень крупным, неправильным носом. Он хотел заговорить первый, и не сумел — разговор начал Лазарев.

— Ну как, Василий Петрович? — сказал он. — Осмыслил происшествие?

Семенов не ответил на этот вопрос. Он даже не понял его прямого значения. Он торопился высказать то, что мучило его сильнее всего. Он сказал:

— Весь день жду тебя, Иван Леонтьевич. Пойми, не с кем посоветоваться! Ведь надо решать мне, немедленно решать.

Лазарев спросил, пристально глядя на Семенова:

— А что, собственно, собираешься решать, Василий Петрович?

— Как что? — чуть не крикнул Семенов. — Да одно у меня: как бороться против этих проходимцев, ведь они сговорились между собою и провалили меня на тайном голосовании.

— Тогда не ко мне обращайся с этим вопросом, — строго ответил Лазарев. — Я сам хожу в этих проходимцах. Я голосовал против тебя на конференции.

Семенов, потрясенный, бледный, смотрел на него и не верил. То, что сказал Лазарев, было невероятно, чудовищно. Среди всех бед, обрушившихся на него, — голосования, разговоров с Ружанским, Шадриным, Чибисовым, — эта была самой неожиданной, самой страшной. Он вспомнил Шадрина и содрогнулся — до последней минуты он был уверен, что Шадрин подло лгал, что его слова о Лазареве были возмутительной клеветой, и вот, оказывается, все это правда — страшная правда.

Он воскликнул не помня себя, почти с воплем:

— Да как же это так? Иван Леонтьевич, как же это? Ведь ты же не дал мне прямого отвода! Значит, и ты хитрил, таился?

Лазарев опустил голову. Семенов видел, как краска заливает его лицо. На какое-то мгновение в нем снова поднялась надежда — нет, Лазарев не голосовал против него, он пошутил, сейчас он признается, что пошутил.

Но Лазарев справился с собой и поднял голову. Он сказал:

— Эх, Василий Петрович, в самое больное место ты сейчас попал — правильно, отвода я тебе не дал. Вчера шел с конференции домой и все себя спрашивал — почему так получилось? Можешь поверить — не хитрил и не таился. Да и не в характере это у меня.

Он говорил очень искренно, открыто, так дружелюбно делился своим недоумением, словно разговаривал с близким приятелем, а не с человеком, против которого выступил и которого провалил, может быть на всю жизнь покалечил.

А Семенов с болью, задыхаясь, все твердил упрямо одно и то же:

— Но отвода ты не дал? Пойми, не давал ты его. Как же это получается?

Лазарев с состраданием смотрел на Семенова. Он видел, что тот не слушает его и даже не желает слушать. Он сказал сколько мог мягко:

— Верно, все верно, Василий Петрович. Нехорошо это вышло с отводом. И знаешь, почему это так получилось? В последнюю минуту я растерялся и усомнился в своей правоте. Помнишь, в выступлении я говорил, что ты обюрократился, не можешь уже по-настоящему руководить. А перед самым голосованием я подумал: «А вдруг я преувеличиваю его недостатки?» И решил: «Ну что же, раз так, пусть меня скорректирует масса без нажима. Не буду давать ему отвода, просто проголосую против». А вышло, что не один я так решил — большинство решило голосовать против.

На это Семенов не мог ничего ответить. Он, впрочем, уже не искал ни ответа, ни возражений. Он чувствовал себя опустошенным. Ему не хотелось больше ни говорить, ни слушать. Поднявшиеся в нем при первых словах Лазарева возмущение и негодование уже перегорели. Долгая яростная борьба с самим собою и с другими, которой он жил всю эту ночь и день, подходила к неизбежному концу.

И вопрос, заданный им, еще недавно самый главный для него вопрос, был произнесен устало и равнодушно — ответ на него уже не интересовал Семенова:

— Как же это случилось, Иван Леонтьевич, что и ты и все вы оказались против меня?

Он даже не заметил, что Лазарев не сумел сразу ответить на этот вопрос, так ему было безразлично все, что Лазарев скажет. Лазарев сидел и думал. Он вспомнил свои собственные сомнения и колебания, вспомнил, как сам он медленно и мучительно приходил к мысли, что Семенов не годится на пост первого секретаря, и решил, что рассказ обо всем этом и будет лучшим ответом на вопрос. Он начал с того, как Семенов приехал сразу после окончания войны в Рудный и как его тогда все принимали.

— Не преувеличу, мы тогда были в тебя влюблены, — говорил Лазарев. — Я так прямо всем и говорил — какие молодые талантливые силы растут в партии, счастлива партия, что расцветают ее кадры.

Он оживился, вспоминая того, раннего Семенова. Он подробно его описывал — молодой, задорный, инициативный, смелый. Он подбирал, словно нарочно, самые хорошие слова для его характеристики. Семенов с усилием заставлял себя слушать — он многое уже забыл из того, о чем Лазарев так ясно напоминал. Лазарев говорил о борьбе Семенова с Печерским за внедрение на производстве среднепрогрессивных норм и за механизацию строительства. Он напомнил, как Семенов ездил по предприятиям, вызывал инженеров на консультацию, сам засел за книги, поехал в крайком и вдрызг разругался с тогдашним секретарей — тот явно недооценивал значение механизации.

— Вот он, каков ты был, — сказал Лазарев. — Ты горячо брался за все новое, передовое, просто кидался помогать людям, нуждавшимся в твоей помощи. А как ты работал с массами, как умел зажигать людей на собрании, говорить с ними наедине. Люди шли к тебе на прием с радостью, а не со страхом, как сейчас, — ох, как много это значило!

А Семенов, слушая его, видел и другое — свои неудачи. Да, конечно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Он многое делал и, случалось, ошибался. И скидки ему на эту философию, что всем свойственно ошибаться, не давали, нет. Два раза его вызывали на бюро крайкома и протирали с песочком — он все это хорошо помнит. И ошибки были пустячные, можно было их и не заметить — нет, замечали, даже раздували и предупреждали: больше не ошибайся.

И, вспомнив это, он с обидой сказал Лазареву:

— Ты думаешь, Иван Леонтьевич, всегда можно оставаться молодым и глупым? Я битый — ученым стал. Ты все это хорошо расписываешь — инициатива, отзывчивость, задор. А ведь от задора и инициативы, от молодой горячности и до ошибки недалеко. А за ошибки может попасть — и больно! Знаешь ли ты, сколько меня били — и право и неправо! Такие случаи хорошо учат — все острые углы обираются.

На это Лазарев возразил сурово:

— Вот, вот, обтекаемым ты стал. Пошел по линии наименьшего сопротивления, никакой инициативы от себя, полное равнодушие к существу дела, только то, что прикажут, то и исполняешь. Кто ты сейчас? Аппаратный работник — только всего. Высокого ранга служащий, а не руководитель масс. Вот ты только что рассуждал об инициативе и задоре — ведь слушать противно, пойми! Если действовать по-твоему, так всем надо сложить ручки и жить только по приказу, а от себя ничего — как бы чего не вышло!

Как невнимательно ни слушал Семенов, занятый своими горькими мыслями, эти последние слова показались ему особенно оскорбительными.

— Нечего сказать, хорош портрет, — криво усмехнулся он. Лицо его было бледно, уши горели. Он чувствовал, как гулко колотилось его сердце. — Неужто так ничего во мне нет, кроме бюрократа и чинуши? А что я себя не жалел для скорейшего выполнения директив партии? Это, по-твоему, пустяки?

— Энергии у тебя не отнять, — согласился Лазарев. — Можно сказать, ты не простой бюрократ, а энергичный. И действовал ты...

— Я верю в партию, уважаю ее директивы! — страстно прервал его Семенов.

— Не спорю, в партию ты веришь. А вот в себя не веришь. В подчиненных не веришь. В массы не веришь, мало с кем общаешься, замкнулся. Хочешь, я тебе назову истинный корень твоих бед? Нехорошо брать самого себя в качестве примера, а придется — себя лучше других знаешь. Ты вот часто говоришь, что любишь и уважаешь меня. Скажи, почему любишь? Почему уважаешь?

Вопрос этот был такой странный и неожиданный, что Семенов не знал, что отвечать на него, — он молча удивленно смотрел на Лазарева. Тот продолжал:

— Вижу, смутился. Наверно, думаешь, — понес старик галиматью. Нет, не галиматью, сейчас увидишь. Ладно, раз ты затрудняешься, я тебе помогу. Наверно, и ты и все вы меня любите потому, что я добр, ласков, всем только хорошие слова говорю, всех вас по головке глажу? Поэтому, что ли?

Семенов, несмотря на свое тяжелое состояние, невольно улыбнулся — слишком уж непохож был на резкого, придирчивого Лазарева этот нарисованный им добрый, сладенький старичок.

— Может, потому меня уважаешь, что я всех боюсь? — продолжал Лазарев. — Или потому, что со всеми соглашаюсь? Или, наконец, просто потому, что в красной книжке моей написано — «с июня семнадцатого года»?

— Нет, не поэтому, — ответил Семенов. И он добавил твердо, искренно, с горячим убеждением — Люблю и уважаю тебя, Иван Леонтьевич, потому, что принципиальный ты человек.

— Вот правильно! — одобрительно кивнул головой Лазарев. — Тысячи недостатков сам за собой знаю — суров, резок, бываю прямо груб, неприятности в лицо говорю, ни для кого сладеньких слов подбирать не стану. А вы все таки любите и уважаете меня, ибо знаете — старик Лазарев принципиален. Все мои недостатки перекрывает это мое достоинство. А теперь погляди на себя, с придирочкой погляди — принципиален ли ты? И сам ответишь — нет, не всегда принципиален, не во всем принципиален.

Семенов опустил голову. Лазарев продолжал сердясь:

— Знаешь, когда в первый раз усомнился я в тебе? Когда началась борьба против низкопоклонства перед иностранщиной. Правильно, нечего нам свое богатство забывать. А ты эту правильную мысль до дурости довел, до геркулесовых столпов. Помнишь свои речи этого периода? Слушать тебя просто стыдно было — все открыто нами, все сделано нами, на Западе ничего не развивается, науки там нет. А лицо твое во время этих вредных — понимаешь? — вредных твоих речей было самодовольное, словно человек всего достиг и ничего ему больше не хочется. Нет, Марков не такой — он беспокоен, ищет новых путей; не удивительно, что в твоем споре с ним все сразу на его сторону встали.

Лазарев помолчал, вглядываясь в лицо Семенова, потом продолжал с еще большим гневом:

— Возьми это сокращение на медном — типичное же твое равнодушие и формализм. В то самое время, когда производилось сокращение аппарата, там были закончены работы по внедрению автоматики. Они привели к значительному уменьшению числа рабочих, к удешевлению продукции. Зато процент служащих повысился. Надо бы радоваться этому, потому что прогресс, а ты на дыбы встал — как так, директива о снижении процента служащих не выполнена. Почему это, спрашиваю? От равнодушия к существу дела.

Семенову казалось, что это проклятое словцо «равнодушие» настигает его со всех сторон. Когда Лазарев заговорил о том, что истина всегда конкретна, а он, Семенов, ко всему подходил только абстрактно, совсем не интересовался в последнее время конкретными условиями и особенностями работы, Семенов, поднимая голову, устало попросил:

— Хватит, Иван Леонтьевич... Довольно с меня...

Лазарев замолчал. Оба они сидели и думали — в голове у Семенова бродили невеселые, путаные, злые мысли. Он сказал горько:

— Так я ждал тебя, Иван Леонтьевич, так хотел тебя видеть. Думал, посоветуешь, разъяснишь, утешишь. Спасибо — разъяснил, утешил...

Лазарев сурово молчал. Потом он встал.

— Душно у тебя в кабинете, Василий Петрович, хоть бы форточку отворил. Давай выйдем на улицу, проводишь меня, еще поговорим.

— Давай, — согласился Семенов. Ему все было безразлично.

На улице Лазарев сказал:

— Какой план намечаешь?

Семенов ответил, с усилием собирая разбегающиеся мысли:

— Не знаю. Утром собирался писать жалобу в крайком и ЦК — сбили вы меня с этого... Чибисов вот рекомендует на курсы партийные поехать, подучиться и снова на партийную работу, куда-нибудь в другое место. Может, так и сделаю — подамся на курсы. Что мне еще остается?

Лазарев строго сказал:

— Нельзя этого делать, Василий Петрович, нельзя. Ты должен тут оставаться.

Семенов с недоумением пожал плечами.

— Да как же я могу оставаться? Сами выбросили, сами предлагаете остаться. Нелепо это.

Лазарев продолжал настаивать:

— Уходить отсюда — значит, снова идти по самой легкой дороге. Пойми, нигде ты не сможешь быть партийным руководителем, если ты не исправился, не заслужил доверия коммунистов.

Семенов даже приостановился, охваченный раздражением.

— Не понимаю тебя, Иван Леонтьевич, что ты такое предлагаешь! Ведь места мне нет, чего же мне оставаться?

— Как нет места? — спокойно возразил Лазарев. — Есть места для тебя, и неплохие — иди на производство. Ты ведь имеешь специальность?

— Ну, имею, — нехотя сказал Семенов.

— Какую?

— Перед войной кончил инженерно-экономический.

— Правильно. Экономист. Иди по этой линии. Знаешь, именно об этом я хотел поговорить. Думал — не стоит к нему идти с утра, пусть перемучается, все обдумает, а вечером, когда картина будет ясна, я с ним побеседую. От всей души говорю тебе — иди на производство, поближе к массам, восстанови с ними связь, прислушайся к ним, поверь в них — тогда и возвращайся на руководящую партийную работу.

— Возвращайся!.. — зло сказал Семенов. — Педагогика все у вас — один за другим приходит, поучает меня. Ум есть, а сердца что-то не вижу. Недостатки мои ты ярко расписываешь, а о достоинствах... — Семенов хмуро усмехнулся.

Лазарев взглянул на него внезапно посветлевшими глазами.

— А сейчас не время расписывать твои достоинства. Одно могу сказать: вижу твои достоинства и верю в тебя! Знаю, воспрянешь, еще спасибо скажешь за суровую науку. Не будь этой моей уверенности, разве я бы к тебе пришел?

Семенов молчал, думал о предложении Лазарева, и оно все больше ему не нравилось. Он не любил сидячую работу экономиста и без радости вспоминал о тех немногих месяцах, которые провел в плановом отделе завода. Он с болью подумал о работе, являвшейся, как он это твердо сам знал, его призванием и ныне отторгнутой от него — люди, массы, дела человеческие, души человеческие, вопросы высокой техники, тот же план, что у экономистов, но достигший остроты накала — борьбы за план... Ему захотелось остановиться и громко крикнуть Лазареву и им всем: «Да что вы делаете, товарищи, нет мне жизни без партийной работы!»

— Назначение на производственную должность зависит от Маркова. С Марковым у тебя отношения скверные, — говорил Лазарев. — Ты ему много крови испортил, но это все в прошлом, а такой человек, как он, на мелкую месть не поднимется. Я тебе скажу — Марков великолепно в людях разбирается, умеет подбирать дельных работников, в этом его сила. Может, я поговорю с Марковым?

— Твое дело, — угрюмо сказал Семенов.

Они подошли к дому Лазарева. Лазарев, опираясь на палку, стоял у двери и смотрел на Семенова. На лице у него было видно сочувствие, почти жалость. И когда он заговорил, в голосе его это сочувствие слышалось очень ясно.

— Трудно тебе, Василий Петрович, понимаю... Нужно через эту трудность пройти. Я тебя много раз стегал, наставлял на истинный путь — ты оказался упрямым. Много и нашей вины — поздно мы спохватились, проглядели, как из партийного работника превратился ты в партийного чинушу. Повторяю: не все потеряно, нужно только отнестись к этому испытанию без обиды, без злобы. Ты еще возродишься крупным партийным деятелем. Считай, что заболел ты и сделали тебе операцию — без наркоза, при полном сознании. Боль от операции сильнее, чем сама болезнь, а пройдет нужный срок поправки — здоров!

— Спасибо на добром слове, — проговорил Семенов сумрачно. — Только, боюсь, бывают такие операции, после которых станешь инвалидом на всю жизнь...

Он попрощался с Лазаревым и пошел назад.

7

Было холодно, дул ледяной ветер. Семенов поднял воротник. Он шел медленно — спешить было некуда и незачем. В городском саду он присел на скамью. Замерзшие, потерявшие листву деревья шумели над ним тонким, металлическим шумом. Он думал — новые угрюмые, беспощадные мысли рождались у него. Он вспоминал свою жизнь в Рудном, и в свете этих новых, правдивых и горьких мыслей она сама казалась ему новой и незнакомой, словно это была жизнь какого-то другого, неизвестного ему человека, и ее показали ему всю сразу, со всеми ее извилинами, и неожиданностями, и естественным концом. В саду было темно, прохожие не появлялись — он один сидел на скамье. Он сказал самому себе: «Вспомни, каким ты пришел в Рудный? Ты был тогда молодой, веселый, нетерпеливый, смотрел на все жадно распахнутыми глазами, ты весь бурлил от кипевших в тебе мыслей и чувств, готов был немедленно ринуться на любое дело, требовавшее движения, траты сил. Да! Таким ты, Василий, приехал в Рудный. А теперь? Обрюзгший, хмурый, неподвижный, глядишь исподлобья, цедишь сквозь зубы каменные, грузные, как и ты сам, слова: „Так. Ну-ну. Давай. Все. Все, говорю!" И между этими двумя такими схожими и такими разными людьми нет зримых связей, нитей, нет мостика...»

— Правильно, все правильно! — устало сказал Семенов вслух. — А крепко тебя, друг, скрутило твое показное величие — просто не человек, а руководящая инстанция.

«Но как, когда, почему все это произошло со мной? — спросил он себя в отчаянии. — Вижу, все вижу сейчас, но почему это случилось? Как я этого не заметил?»

Он думал, нападал на себя, опровергал свои слова, издевался горько, с неумолимой прямотой над мыслями, еще недавно утешавшими и успокаивавшими его. «Врешь, ты все знал о себе, видел все перемены! И причины ты знаешь: „не во всем принципиален, не всегда принципиален", — так сказал о тебе Лазарев, и это правда, все правда. Спокойствие ты любишь больше всего, а принципиальные люди — народ беспокойный, тут он тоже прав, и тебе нечем крыть. Вот так все и шло — ты уставал подхватывать хорошую, но требующую большой поддержки инициативу, уставал драться за нее, уставал думать о новом, боялся ссориться с начальниками, говорить им неприятности, а Лазарев вот не боится, нет! Помнишь это дело со строительством совхоза под Рудным? Помнишь, как возник этот план — построить теплицы на площади в сто гектаров, обогревать их теплом ТЭЦ и снабдить город свежими овощами? План хороший — лук и помидоры приходится часто самолетами забрасывать в Рудный, не только судами, — здешняя вечная мерзлота ничего не родит. И затрат требовалось не так уж много. С какой энергией начал ты это дело, как горячо выступал в крайкоме, как настойчиво уговаривал несоглашающихся. А чем кончилось? Тем, что тебя побили и ты сразу притих. Министр, тот, бывший, сердито сказал: „Год назад война окончилась, у нас заводы разрушены, люди живут в землянках, а Семенов собирается роскошествовать в своем медвежьем углу — удивляюсь, товарищ Семенов, отсутствию у тебя чувства реального!" Да, ты притих, и этим все кончилось. Нет, врешь, не кончилось этим, — сказал он себе с ненавистью. — Тебе записали, что, вместо конкретного руководства, ударился в фантазии, а люди в Рудном — рабочие, инженеры — настаивали, требовали построить теплицы. Но ты обрывал их — боялся второе резкое замечание заработать. Как это называется? „Глушить инициативу масс" — вроде ведь так. А теперь скажи, чем на самом деле все кончилось. Прошлым летом в ЦК тебе с укором заметили: „Товарищ Семенов, до каких же пор вы будете лук и огурцы самолетами возить? Такое большое предприятие, а не можете организовать солидного тепличного хозяйства! А ведь кто-то из ваших работников ставил этот вопрос несколько лет назад. Что же это вы так скоро забываете свои хорошие начинания, товарищи?“ И ты молча проглотил эту пилюлю — не хватило у тебя мужества признаться, что это ты ставил вопрос о теплицах и что это ты же, струсив, побоялся поставить его вновь. А принципиальные люди — Лазарев и этот твой Марков — не таковы. Они не отступают после первой неудачи, не опускают рук. Они думают, по-государственному угадывают государственные нужды, заранее предвидят, что потребует государство. А ты? Ты стал партийным чиновником высшего ранга — только исполняешь, что прикажут, живешь от кампании к кампании. А как ты вел себя, когда Марков потребовал сокращений и перемещений в аппарате? Ты встал на дыбы, а потом пришла правительственная директива о сокращении аппарата — пришлось немедленно перестраиваться. И вспомни, честно вспомни свою тогдашнюю мысль: ты поразился, не Марков ли писал некоторые разделы этой директивы — так хорошо сумел он предугадать ее».

— Да нет, неверно это! — крикнул он, снова пытаясь защитить себя. «А твоя борьба за план? Разве бюрократом и чинушей показал ты себя в этой борьбе? Вспомни, ты дни и ночи проводил на предприятиях, забывал заехать в горком, влез в технологию, познакомился со всеми мастерами, с рабочими. А сколько ты сидел с инженерами „бриза", прикидывал, как повысить производительность процессов и агрегатов? А твои выступления, твои разговоры с людьми — ведь они зажигали их! А твоя настойчивая, методическая проверка решений и обязательств? А помнишь этот телефонный разговор мастера обогатительной фабрики с работником рудника, который ты случайно подслушал? „Вот попробуйте только на час опоздать, — кричал мастер, — немедленно к Семенову пойду, он научит вас работать!" Ведь это было — люди шли к тебе, атаковали тебя на ходу, ты им нужен был, нужен был производству. Что же ты мажешь себя одной черной краской?»

«Нет, это не так просто, — ответил он себе неумолимо. — Ведь тут проявилась твоя тяга к спокойствию, что говорить, своеобразно проявилась, ты явление сложное, сразу ярлычка не подберешь, как выразился сегодня Чибисов. Все дело в том, что тогда так было спокойнее работать, энергично — Печерского сняли, заводы в Рудном не выполняли план, Москва требовала перелома. Вот так ты всегда: есть директива — выполняй, нет директивы — сиди на месте. Сегодня спокойнее ничего не делать — ты ничего не делаешь, завтра спокойнее и безопаснее действовать — ты с энергией берешься за работу. Сложное явление, сложное, ничего не скажешь».

Он вспомнил о том, как рассуждал ночью, вспомнил о планах борьбы с людьми, провалившими его на голосовании, и его передернуло, словно от физической боли. Теперь он совсем другими глазами смотрел на случившееся с ним несчастье, и те, прежние его мысли казались ему мелкими и грязными. «Стыдись, стыдись! — сказал он себе сурово. — Что ты увидел во всем этом? Личные счеты, дрязги, ничего принципиального, а принципиальное было. Ты рассуждал как обыватель, как мещанин и лишний раз доказал людям, что правильно они сделали, провалив тебя. „Дружки Маркова, тайная группка" — стыдись! Ты смотрел на людей, а был слеп, ничего не видел, другие открыли тебе глаза!»

Теперь он думал не о прошлом, а о будущем. И будущее, вначале туманное и неопределенное, делалось беспощадно достоверным. Отчаяние снова овладело Семеновым. Он знал самое главное, то, чего не знали те, кто был против него, — ему не просто удар наносили, не только учили тяжким и заслуженным уроком, а ломали всю его жизнь, потому что случившееся было для него непоправимой катастрофой.

— Ты, Иван Леонтьевич, не фамилию мою зачеркнул, — сказал Семенов вслух, — ты лучшее во мне перечеркнул.

Он словно поднялся надо всем и увидел не только свои ошибки и недостатки, но и ошибки тех, кто был против него.

«Нет у меня другой жизни, кроме партийной работы, — снова, как при беседе с Лазаревым, сказал он себе сурово и жестоко. — А раз тебя с партийной работы убирают, значит, всю жизнь твою ломают».

И опять поднялись в нем горечь и возмущение. Ну, хорошо, он совершил много ошибок, его побили — правильно, все правильно. И все же не только одни недостатки были в его работе. Вот они все приходили к нему и расписывали его задним числом черными красками, даже до вдохновения поднимались, изрекая все это, до пафоса.

И никто, ни один из них не вспомнил другое, а объективности ради следовало это другое отметить, — он ведь жил своей работой, не просто работал, жил! Конечно, было у него ослепление, зазнайство вельможи, бюрократическое чванство, — ничего этого он не отрицает, нет: он грубо обращался с сотрудниками, игнорировал их мнения, властно навязывал свои решения. И если он проявлял мало своей инициативы, а только исполнял директивы, то душу свою в работу он все же вкладывал, не мог работать без души. Нет, тут Лазарев неправ — не только одно равнодушие было в его работе. Отрыв от масс!

Но ведь он помнил о них, думал о них.

Не одним стремлением к спокойствию объясняются его ошибки. Он не оправдывается, нет, так и выходит — иногда он шел против интересов государства, может быть даже против коренных интересов тех самых людей, которых защищал. Он крепко тут ошибся, но забота о людях была.

— Кому все это сейчас нужно? Кто сейчас об этом вспомнит? — сказал он вслух, подводя итог своим невеселым мыслям, и встал со скамейки. Он направился к дому. Он шел одним и тем же шагом — медленно, заложив руки за спину. Только у городского театра он пошел быстрее — кончился спектакль, среди выходящих могли оказаться знакомые, ему не хотелось встречаться с ними.

Дома все уже спали. Он осторожно открыл и прикрыл дверь и на цыпочках прошел в кабинет. Войдя в него, он вздрогнул.

В кабинете сидел Марков.

8

Марков сидел в кресле одетый — в пальто. Он читал газету и, когда вошел Семенов, повернул к нему лицо. Весь гнев, все обиды разом поднялись в Семенове — он словно забыл о своих недавних мыслях. Он мрачно, негодующе, почти с ненавистью глянул в это хорошо знакомое, так часто сегодня припоминавшееся лицо — бритое, сухощавое, сильное и умное. Марков опустил газету и встал. Он сказал не улыбаясь:

— Что, непрошенный гость?

И Семенов ответил ему с вызовом и гневом:

— Так, Алексей Антонович, точно угадал.



Что-то дрогнуло в спокойном лице Маркова, что-то промелькнуло на нем — неуловимое, похожее на далекий отблеск улыбки. Он спросил — чуть ли не с издевательской учтивостью:

— Так как же, выгонишь или поговорим, Василий Петрович?

На секунду страстное желание взять Маркова за шиворот или просто показать ему рукой на дверь охватило Семенова. Но он был так измучен, что сил на это уже не было. Он сдержанно показал рукой на кресло.

— Садись, раз уж пришел.

Марков снова сел в кресло и бросил на стол газету — разговаривая с Семеновым, он держал ее в руке. Видимо, он не спешил начать беседу.

Он о чем-то думал, смотрел на Семенова, вынул папиросу, закурил. И Семенов, не удержавшись, заговорил сам.

— Что же, Алексей Антонович, добился своего? — сказал он.

— Добился, — согласился Марков, выпуская дым.

Семенов, снова закипая гневом, продолжал:

— Хорошую подготовительную работу ты провел, Алексей Антонович, — людей обрабатывал, свою группку сколотил. Выборы провел точно по расписанию.

— А вот этого не было, — возразил Марков. — От людей не скрывал, это правда, но обрабатывать их не обрабатывал. И группки никакой не было — если хочешь знать, я перед голосованием только в одном человеке был твердо уверен, что он тебя вычеркнет, — это я о себе.

Семенов задал ему тот же вопрос, который ставил перед всеми:

— Почему не дал прямого отвода?

— А незачем, — пожал плечами Марков. — Прямой отвод надо обосновывать, доказывать, начнутся споры, взвешивания по мелочам, в чем ты прав, в чем нет, а так — просто: не нравишься ты мне, вот я и вычеркиваю. Понял?

— В самом деле просто, — усмехнулся Семенов. — Нравиться я тебе, конечно, не могу, — оторвался от масс, партийный чинуша, спокойствие люблю, бездельник.

Марков казался удивленным. Он, подумав, возразил:

— Нет, зачем бездельник и чинуша? Этого я не говорил. Энергии у тебя, Василий Петрович, хватает на двоих, работать ты умеешь.

— Спасибо, что хоть это заметил, — едко сказал Семенов. — Другие дальше твоего пошли — что-либо хорошее во мне начисто отрицают.

— Энергия у тебя имеется, — повторил Марков. — Вот это, если хочешь знать, больше всего и бесило меня — всю свою энергию ты направил не туда, куда надо было, и вместо того чтобы помогать, стал мешать нам всем. Ты, если хочешь знать, был у нас в Рудном самым большим тормозом техническому и производственному прогрессу, вот почему все производственники пошли против тебя.

Марков был человек вспыльчивый. Долго вести размеренный, спокойный разговор — он, видимо, хотел вести именно такой разговор — не мог. Он вскочил с кресла и бросил недокуренную папиросу. Он стал краснеть, им уже овладевал быстро налетающий гнев.

Семенов сказал, возмущенный этими новыми нападками:

— Я тормоз прогрессу? А вспомни, как мы вместе боролись за план, за производственные показатели. Ведь заводы наши по качественным показателям — лучшие в стране; не спорю, это твоя заслуга, Алексей Антонович, но ведь и моего поту, немало и моего поту ушло на это.

— Ну и что же? — крикнул Марков. Он остановился против Семенова, раздраженный, злой, взъерошенный — такой, каким его всегда знал Семенов. Он повторил с силой: — Ну и что же? Кто отрицает, что ты серьезно боролся за план какое-то время? А сейчас ты мешаешь нам развернуть настоящую борьбу за план.

— Я мешаю? — спросил Семенов с тяжелым недоумением. — Еще недавно я вызывал к себе Волкова, у него там неполадки с программой, и строго предупредил, что приму партийные меры против него в случае срыва, дал советы, как поднять массы на повышение производительности.

Вот, вот! — сердито закричал Марков. — Этот твой дурацкий разговор у меня вон где сидит, — он показал пальцем на шею. — Знаешь ли ты, что мы развернули работу по автоматизации помола руды, специальные приборы и механизмы ставим? А эффект от этой затеи? Предположительно — пятнадцать — двадцать процентов повышения производительности агрегатов, не говоря уже о сокращении персонала. А Волков после разговора с тобой распорядился прекратить все работы по автоматизации. Он так прямо и кричал всем: «Если я не дам в будущем месяце возможных десяти — пятнадцати процентов сверх плана, меня никто не тронет, а если хоть на один процент не дотяну в этом месяце, Семенов с меня голову снимет». Он и мне это сказал: «Не могу экспериментировать, Алексей Антонович, Семенов мне выговор в личное дело вкатит, на кой мне это нужно!» Вот она, твоя сегодняшняя борьба за план, Василий Петрович, — узостью и формализмом от нее несет.

Семенов вспомнил, что Волков, оправдываясь, ссылался именно на работы по автоматизации, а он, Семенов, оборвал его: «Автоматика! Автоматику внедряй, а план срывать не позволю!» Все это теперь поворачивалось против Семенова — возражать ему было нечего. Внедрению автоматики он в сущности мешал.

Марков продолжал горячиться:

— На командные должности влезли лентяи, пустомели. Мы их перемещаем, посылаем на производство, а ты за них горой — наши люди, не смейте. То есть как это, наши люди? — гневно спросил Марков. — Ведь это нахлебники у государства, они только берут, государство рассматривают как дойную корову. А что государство, богадельня, что ли? Где это написано, что государство берет на себя обязанность пожизненно кормить и одевать болтунов, от которых никакого толку? У нас социализм — каждому по труду. А они уже при коммунизме живут — получают не по заслугам своим, а по потребности. Сколько их, представляешь? Ведь это же гиря, мешающая нам двигаться вперед. Мы замахнулись на них, а ты нас за руку хватаешь — нельзя, ничего, что толку от них нет, зато по-нашему разговаривают... Сейчас все люди — наши, но одни с пользой работают, другие бездельничают.

Семенов прервал Маркова:

— Значит, провалили вы меня в отместку за то, что я с вами со всеми не соглашался? Допускаю, и я ошибался, можно было бы поправить. А вы сразу вон!



— Поправишь тебя, — усмехнулся Марков. — Кто тебя поправлять брался, сам не раз с шишками уходил. — Он переменил тон и сказал сурово: — Провалили тебя за дело. Новые, огромные задачи поставила перед нами партия, а ты стал сильно мешать их решению.

— Уже во вредители записали, — мрачно проговорил Семенов.

— Ты погоди. Хоть и поздно сейчас, а несколько минут придется тебе потерять — послушай. Ты вот гордишься, что по качественным показателям мы первое место в стране заняли по нашей отрасли промышленности. Я тебе скажу больше — у нас на заводе имеются такие показатели, по которым мы на первое место в мире вышли — взять, например, использование объема печей.

— Вот этим надо гордиться, — прервал его Семенов. — Это и есть главная задача — добиться самых высоких показателей.

— Не горжусь я этим, — возразил Марков. — И скоро эти самые печи с высокими показателями ломать буду, потому что устарели они. Помнишь, я тебе сказал: «На первое место в стране вышли — начало неплохое». Это не слова были, Василий Петрович, а план, сейчас осуществлять его буду. И еще я тебе скажу: после приезда из Америки меня, как ты знаешь, главным инженером главка назначили, потом начальником главка. Сам я это высокое место бросил и попросился в Рудный — много нервов пришлось потратить, пока отпустили.

— Так ты сам перевелся? — с удивлением спросил Семенов. Он знал, что Марков ушел в директоры комбината с поста начальника главка, но не представлял, что это произошло по его личному желанию.

— Сам, — подтвердил Марков. — Чувствовал, что высокие административные посты не по мне. Я инженер, настоящее мое место здесь, рядом с агрегатами; там, в Москве, в своем кабинете, я тосковал по цеху. И ехал и сюда с твердым намерением ломать старую технологию, удалять косных людей и переводить нашу металлургию на новые пути. Помнишь, тебе не понравились мои резкие слова на аэродроме, — тоже не случайно они у меня вырвались.

— Так почему печи ломать будешь? — переспросил Семенов нахмурясь, ему неприятно было это напоминание.

— Я уже сказал, устарели. Вот год назад в Америке компания Шеррит-Гордон построила небольшой никелевый заводик, работающий по совершенно новой в цветной металлургии схеме, — на нем нет печей, конвертеров, электролизных ванн, всего того, без чего немыслимы старые заводы; вместо них — закрытые гигантские автоклавы. Рудный концентрат автоматически подается в автоклавы, растворяется в аммиаке, а из раствора — автоматически же — осаждаются чистые металлы. И все! Ты понимаешь, все закрыто, автоматизировано, людей мало, отсутствует тяжелый труд. Это завтрашний день нашей металлургии, на него надо равняться.

— И что же, думаешь внедрять у нас в Рудном эту новую американскую схему? — спросил Семенов. Заинтересованный сообщением Маркова, он на минуту даже забыл о главной цели своего разговора с ним.

— Нет, — возразил Марков категорически. — И в мыслях не было у меня рабски копировать американцев. Мы здесь, в опытном нашем цехе, поставили свои эксперименты — тоже автоклавы, только другой конструкции, и растворение идет не в аммиаке, а в кислоте. И нам удалось на опытной установке добиться значительно более высокой производительности, чем получилось у американцев. Вот такой процесс мы и собираемся внедрять. Я уже согласовал с министерством, вопрос внесем в правительство; думаю, в будущем году начнем широкую реконструкцию завода. Дело очень сложное — перестройку придется проводить, не прерывая производства, на ходу, — наша продукция, как ты знаешь, очень дефицитна, в ней многие отрасли промышленности нуждаются. Предвижу не только лавры, но и шипы — придется вносить коррективы в планы и, главное, мыслить другими категориями — строить расчеты уже не на месячном, а на квартальном и годовом выполнении; у нас к подобной работе мало привыкли, вероятно много грозных бумажек будет прибывать из центра.

Семенов сказал грубовато и искренно:

— Широко задумано. Жаль, конечно, что меня в болваны записали, считаете неспособным к такому «квартальному», а не «месячному» мышлению. Ну, тут уж ничего не поделаешь.

И он повторил с горечью, уже не скрывая вздоха:

— Жаль, жаль, Алексей Антонович, что в такой серьезный и решающий момент вы меня из Рудного выставляете. Обидно за недоверие...

Марков возразил:

— А ты оставайся. Зачем тебе уезжать?

— Место экономиста предложишь где-нибудь в цехе? — сердито спросил Семенов, вспоминая предложение Лазарева. — Не по мне это.

— Почему экономиста? — удивился Марков и, как показалось Семенову, искренно. — Совсем другое я хотел тебе предложить — идти на низовую партийную работу. Скажем, возглавить заводский партийный коллектив. Нет сейчас в Рудном более важного места, чем это: предстоит огромная работа по реконструкции, нужно всю партийную, всю рабочую и инженерную массу поднять и мобилизовать. Думаю, ты хорошо с этим справишься.

И, видя изумление на лице Семенова, Марков пояснил:

— В горкоме ты был не на месте. Вот как я — в кресле начальника главка; только я знал это о себе, а ты не знал. На работе в горкоме не достоинства, а недостатки твои верх брали. Настоящее твое место, думаю, именно на заводе, рядом с массами, в цехах, а не в кабинетах. Я часто вспоминал первые месяцы нашей общей борьбы за план — ведь ты дневал и ночевал на предприятиях, всех подталкивал, всех тормошил, был в курсе каждой важной операции, люди к тебе шли охотнее, чем к начальникам цехов, охотнее, чем ко мне. Это я хорошо запомнил и особенно часто вспоминал, когда поднимался в горкоме на третий этаж, в твой кабинет, — совсем не похож был ты в этом кабинете на того, другого.

Слова Маркова поразили Семенова. Он узнавал в них свои мысли, те самые, что явились ему в его одиноком споре с самим собою в саду. И снова он видел свою неправоту — ему казалось, что люди забыли о его достоинствах, видят в нем только плохое, а вот Марков, главный его противник, его враг, как он еще полчаса назад думал, стоит здесь и спокойно говорит о нем то хорошее и правильное, чем он всегда сам тайно гордился. Семенов вспомнил слова Лазарева: «Марков на мелкую месть не поднимется... Марков в людях разбирается — в этом его сила».

Не показывая своего волнения, Семенов проговорил:

— Да как это сейчас можно — после моего провала? Ты представляешь отношение людей ко мне?

— Трудно, — согласился Марков. — Трудно, но осуществимо. Со многими товарищами я уже беседовал, они соглашаются, что на заводе ты бы подошел. Сегодня, перед тем как идти к тебе, я был у Чибисова в гостинице; он согласен поддержать меня, обещает оказать всяческое содействие. Верховенский даст рекомендацию от горкома, он это сразу предложил. Одно могу сказать — весь свой авторитет в заводской партийной организации в ход пущу, чтоб добиться этого, если ты, конечно, сам на это согласен.

Сомнений больше не было — Марков говорил серьезно и искренно. И Семенов уже знал, что примет это предложение с охотой и радостью, — это был лучший выход, лучшее решение в создавшейся обстановке, а может, и вообще более правильный путь его жизни. Он сказал, не веря в свои слова, может быть, только для того, чтоб этими словами зачеркнуть все плохое, что — было в их отношениях, и начать новые, хорошие отношения:

— Ну, а там, на заводе, счеты будешь со мной сводить?

Марков, нахмурясь, ответил сурово:

— Счеты я с тобою уже свел — работать будем!